

АНТОЛОГИЯ ЖИВОЙ

АЖЛ

ЛИТЕРАТУРЫ



СКВОЗЬ ЗЕРКАЛА И ОТРАЖЕНИЯ



СКИФИЯ

Станислав Грачёв
Алёна Туманова
Алекс Ведов
Елена Карелина
Александр Клейн
Юлия Ловыгина
Даша Николаенко
Анна Кшишевска Иванова
Галина Сергеева
Максим Хомути

Владимир Захаров
Джерри (Александра Власюк)
Владимир Черноморский
Игорь Чернавин
Михаил Лебедев
Андрей Лаврухин
Алина Пашек
Ксения Степанова
Константин Вихляев
Давид Кизик
Анатолий Пискунов

Антология
Нари Ади-Карана
Сквозь зеркала и отражения
Серия «Антология Живой
Литературы (АЖЛ)», книга 14

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=48575354
Сквозь зеркала и отражения: антология. / Ред.-сост. Нары Ади-Карана: Скифия; Санкт-Петербург; 2019
ISBN 978-5-00025-183-6

Аннотация

«Антология Живой Литературы» (АЖЛ) – книжная серия издательства «Скифия», призванная популяризировать современную поэзию и прозу. В серии публикуются как известные, так и начинающие русскоязычные авторы со всего мира. Публикация происходит на конкурсной основе.

Содержание

| | |
|-------------------------------------|----|
| Предисловие | 7 |
| I. По краю тени от бездны | 8 |
| Владимир Захаров | 9 |
| Стиль | 10 |
| Дворник | 22 |
| Идеальное устройство | 40 |
| Джерри (Александра Власюк) | 58 |
| Жертва | 59 |
| Дискриминация | 69 |
| Владимир Черноморский | 75 |
| Осеннее утро в Манхэттене... | 77 |
| Эндшпиль | 79 |
| Зацепиться | 80 |
| Я люблю скрипачей | 81 |
| Подражание классикам | 83 |
| «Ничего мне не надо...» | 84 |
| Попытка инсценировки | 86 |
| Любимая моя | 89 |
| «А тогда была девочка...» | 90 |
| Теннисный мяч | 91 |
| «Я прощаюсь с тобой...» | 92 |
| «А мы с тобой построим пропасть...» | 93 |
| Заполярные времена | 94 |

| | |
|------------------------------------------|-----|
| Линные гуси | 96 |
| Мертвое море | 97 |
| Ублажи меня снегом, Декабрь | 98 |
| Как злобно ливень лупит снег! | 99 |
| Синий ветер печали | 100 |
| Дефиле без филе | 101 |
| Прощение | 103 |
| Игорь Чернавин | 105 |
| Из цикла об уходявшем (1982–1985) | 107 |
| 1. Негромкие крики с помойки | 107 |
| 2-. Велосипед или поезд | 109 |
| 3. Трубочник уехал | 115 |
| Из цикла «Необъективность» (0.015-0.019) | 117 |
| 4. Про мартышонка | 117 |
| 5. Гости | 122 |
| 6. Маша, Саша и колено | 127 |
| 7. Лучше, как лучше | 135 |
| 8. Иструть-forever | 142 |
| 9. Что вообще происходит | 152 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 155 |

Сквозь зеркала и отражения: антология

Редактор-составитель

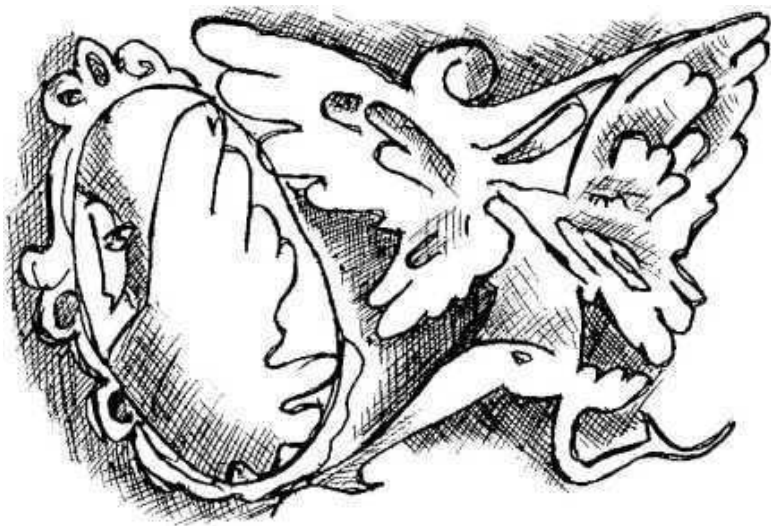
Нари Ади-Карана

Серия: Антология Живой Литературы (АЖЛ)

Серия основана в 2013 году

Том 14

Редактор-составитель **НАРИ АДИ-КАРАНА**



Все тексты печатаются в авторской редакции.

Издательство приглашает авторов к участию в конкурсе на публикацию в серии АЖЛ. Заявки на конкурс принимаются по адресу электронной почты: skifiabook@mail.ru.

Подробности условий конкурса можно прочитать на сайте издательства: www.skifiabook.ru.

Предисловие

Мы отражаем мир – мир отражает нас, как два зеркала, что ловят свет и тени друг друга. По зеркальным коридорам одна реальность уходит в другую и возвращается измененной.

I. По краю тени от бездны



Владимир Захаров
г. Петрозаводск, Карелия



Выпускник художественно-графического отделения Петрозаводского социально-педагогического колледжа. Учился на филологическом факультете ПетрГУ.

Свободный художник, литератор. Рассказы публиковались в журнале «Север», «Нева», «Молодежной газете», интернет-журналах.

Из интервью с автором:

Получил первую премию на конкурсе журнала «Нева» – «Невская перспектива» (рассказ «Одиннадцатая заповедь», 2005 г.), именную стипендию имени Роберта Рождественского для одаренных студентов 2004–2005 гг. Лауреат 5-го международного Волошинского конкурса (рассказ «Небо Копейкина», 2007 г.), дипломант 7-го международного Волошинского конкурса (рассказ «...много хлеба, водки, тушенки...», 2009 г.).

© Захаров В., 2019

Стиль

– Все ох...нно, когда ты возишься со своими деревьями, рыбами. Еще ты дрова очень красочно рубишь. Наполненно, я бы сказал. И бабы твои, и звери... Все живое, но пойми, сейчас надо другое. Я будто в болоте вязну в твоём тексте. Ты вообще знаешь, что прозаический текст можно делить на

абзацы? У тебя, бл..., простыни текста, в которых увязаешь. Строчки друг на друга налезают. Начинаешь путаться. Перескакивать с одного на другое. Не думай, что я критикую. Повторюсь, ты крепко и хорошо пишешь, но надо думать и о тех, для кого. Знаешь, какой главный девиз мира сейчас? Комфорт! Все должно быть комфортным. Люди больше не стараются. Если что-то доставляет им неудобства и заставляет ерзать жопой, напоминая о геморрое, то они от этого отказываются. И нельзя их в этом винить. Мы – работники сферы развлечений. Литература больше не алхимия с попыткой выплавить душу. Надо приспособливаться...

– За борта держись, – перебивает Архаров, выпрыгивая в мелководье и рывком подтаскивая на себя лодку с Журавлевым.

Журавлев приехал вчера. Долго переписывались. Журавлев – редактор одного из столичных литературных журналов. Первым напечатал Архарова и сейчас занимался продвижением его текстов. Захотел увидеться воочию, да и наглушь, из которой вдруг невзначай выпростался Архаров, посмотреть.

– Ты не видишь перспективы. Картины, в общем. Конечно, у тебя тут просторно, – оглядываясь на пошатывающееся озеро, закуривает Журавлев. – Трудно, живя в этом, предполагать, что тебя читают в разных местах. Но это так. И в метро, поживаясь от трущегося о ногу извращенца. И в уборной, нащупывая рулон туалетной бумаги. И в новень-

ком «Бентли», одной рукой перелистывая, другой поддавливая на голову шалавы, чтобы не сбивалась с ритма... Эффект свежести и новизны проходит, и люди хотят, чтобы не только про дебри и про то, как глядит лось, привалившись простреленным боком к сосне. Хотят, чтобы и о них. Чтобы помочь нащупать рулон и пояснил дуре, что главное это ритм...

– Прихвати удилища, я сети смотаю.

Архаров смотрит на смурное небо и понимает, что дождь будет долгим и прольется на Журавлева в том числе. Это означает, что меньше снаружи, и придется укрывать редактора, и подолгу, не отвлекаясь, оставаться с ним наедине. Вывешивая сети на приколоченные под навесом лосиные рога, Архаров подсчитывает в уме, сколько надо взять водки.

– Была одна поэтесса... Из такой же глуши, только с южных окраин родины. Я к ней приехал тогда и чуть обратно сразу не сорвался. Знаешь, когда баба в очках и на ней одежда, под которой не разберешь, что там вообще. То есть обычно сразу понимаешь, трахабельно или нет. Да и стишки у нее такие, знаешь, сочащиеся, влажные. А тут такое... чуть сразу обратно не сорвался. Подумал, что не продам. Но задержался, попил с ней. Представляешь, она жила на берегу моря, а с детства на пляж не выходила. Это было уже делом принципа. Напоил и затащил на пляж. Когда разделась, я не пожалел, что остался. Если назову ее имя, сразу поймешь, о ком я. Первая московская поэтесса сейчас. Уже без этих крымских пасторалей в стишках. Все больше грязного и вкусного. Но,

правда, облядилась в процессе и, наверное, сопьется, но...

– Баня ближе к вечеру, сейчас уху заправлю.

Журавлев кивает, пристраивая удилища под навес. Не получается. Бьют по спине, когда отворачивается. Махнув рукой, идет к Архарову, который, присев на бревно, на камне режет щучьи головы. Журавлев на какое-то время застывает, наблюдая за процессом. Вид крови задерживается в его глазах тревожным восторгом. Вздрагивает головой, отвлекаясь, и, присев к рюкзаку, достает из него водку.

– А еще диалоги... это, брат, сейчас тренд. Чем больше болтовни в тексте, тем лучше. А у тебя их почти нет. Будто слет глухонемых. Понятно, что герои твои диковаты, но не совсем же неандертальцы. Вот и пьют, и бабьем не брезгают, но все это в какой-то удушливой немоте. Гаркают, как допотопные: нож там передай, заходи на медведя. Тебе надобно их разговорить. Пускай поплачутся, что ли... поматерятся... поюморят... Чем причудливей и витиеватей, тем лучше заходит. Да и объем так набирать легче. Пару вводных абзацев, пятьдесят страниц болтовни – и вот тебе повесть. Так сейчас в основном и пишут. Люди же прежде всего в Интернете обитают, а там сплошное соревнование – кто красочней спиз...нет.

Журавлев, разлив водку, передает кружку Архарову. Тот, обтерев о траву нож, кидает рыбы потроха в костер. Шипение вскипающей крови.

– Давай, брат, за природу. Где мы, кстати?

– Нигишламбское.

– Нигиш... как, мля?

– Ни-гиш-ламбское.

– Короче, вот за то, что ты назвал. Красиво у вас тут...

Умеешь передать... Меня-то, честно говоря, день на третий в таких вот местах подташнивать начинает. Слишком просто и свежо. А мне, брат, смог и пробки подавай. Надо и тебя в столицу затащить. Чтоб надышался. Городская проза всегда лучше продается. Подумай над сюжетцем, как один из твоих леших в город попадает. Кто кого ломает, а?! Кто кого?!

Архаров выпивает, вытянув руку в сторону и ладонью нащупывая первые дождевые капли. Журавлев шумно занюхивает луковым пером, присматриваясь к Архарову и разгадывая его беспокойство.

– В доме укройся, сильно польет, – говорит Архаров, во-дружая котелок с ухой на осиновою рогатину над костром.

– Думаешь?.. Вроде и не каплет.

Архаров набрасывает на плечи дождевик, и начинается основной дождь.

– А ты как же?! – перекрикивает ливень Журавлев, напоследок замахивая водку и семена к веранде.

– Нормально! Доварю! – отбреживается Архаров, подбрасывая в шипящий огонь чурки потолще.

Он тихо улыбается, помешивая уху деревянной ложкой, и с удовольствием курит, прикрывая сигарету козырьком паль-

цев. Какое-то время тихо. Только перестук дождя по крышке котелка и дну перевернутой лодки. Журавлев потерянно прохаживается взад-вперед по веранде дома, в метрах пятнадцати от костра. Заметно, что он доискивается взгляда Архарова, ждет, когда тот обернется. Архаров не оборачивается, и Журавлев преодолевает дождь с веранды.

– А еще баб надо побольше! У тебя они есть, но слишком редкие и заповедные! Фестиваль сосисок какой-то! В твоих текстах зашли бы такие, знаешь – кровь с молоком, ухватистые, с грудями медными! Пускай лесовики возвращаются в свои берлоги к теплomu междуножью и безмолвно так, со смыслом еб...ся! А потом, не поделив междуножье, гоняются по лесам друг за другом с берданками! Таковую драму, брат, можно завернуть! С мясом, кровью, сексом! Не забывай, что женщины читают больше! Это надо всегда в уме держать!

Архаров, с сожалением оглядев серый затянутый горизонт, снимает котелок с костра и идет в сторону дома.

– Опять же деньги. Сейчас только деньги людей волнуют. И тех, у кого их мало, и тех, у кого их хоть жопой ешь. Люди убиваются из-за них, убивают... В твоих же иноках это не проглядывается. Скажешь, что в лесу и так все под рукой? Может... Но всегда кто-то хочет больше. Вот ты хочешь?! Хочешь?! – подначивает Архарова Журавлев, зачерпывая рыбий бок. Архаров натянуто улыбается и чуть кивает. – Надо тебя по премиям потаскать. Это тоже отдельная тема. Для первой книги нет лучше рекомендации, чем несколько

помельче премий или одна, но большая... Но там столько шкурных интересов, брат. Целые группировки. Некоторые, особенно ушлые, только на премии и работают. Сочинение на тему, так сказать. Однодневки в основном, но спрос-то какой? И так читают мало, так хоть копеечку заработать. Домой вернусь, прошерстю календарь.

Под уху выпивают много. Журавлева заметно повело. Речь замедляется, скатываясь в полутона. Архаров решает, не дожидаясь вечера, заправить баню. В парной их еще больше развезет. Опять же сколь угодно долго можно растапливать и отлучаться на погляд. Баня за домом. Немного чадит при растопке от давящего сверху дождя. Журавлев заглядывает в парилку, где Архаров на корточках, весь в дыму у раскрытой печки. Журавлев, закашлявшись, уходит. Архаров хмельно улыбается и не спешит с раскрытием поддувала.

– А политика?! Ты об этом думал? – через дверь просачивается голос Журавлева. – Сейчас не важно, что пишет писатель, важно его мнение о текущем процессе. Там тоже все зыбко. Разные лагеря. Почвенники, ватники, либерасты... Надо аккуратно, ни нашим ни вашим, так сказать. Но всегда на пульсе. Ты, конечно, скорее, к ватникам по всем внешним признакам, но можно и на исконной анархической карте сыграть. Этакий правдоруб из народа. Я еще посоветуюсь с прошаренными людьми, и мы определимся.

Журавлев, повизгивая и пригибаясь, забегает в парилку. У него поджарое, с небольшим выпуклым брюшком тело.

Мягкий, от дорогого солнца загар контрастирует со снежной бледностью шрамного, с потертостями тела Архарова. Архаров закрыв глаза, с запрокинутой головой сидит на верхней полке. Журавлев было взбирается к нему, но, поерзав, сползает сначала на средний, а потом и на нижний уступок. Про-бует заговорить, но раскаленный воздух запирает. Архаров подкидывает на камни, и Журавлев шарахается от резкого звука вспенивающейся воды. Вдоволь нахлеставшись веником, Архаров выходит в предбанник и видит, что Журавлев, прикрыв голову полотенцем, спит. Перед уходом Архаров открывает дверь парилки и выпускает плотный пар. До ночи тепло задержится, и Журавлев не застудится.

Прихватив сигареты, Архаров выходит под дождь. Осень в этом году утверждает сама себя. Без всякой раскачки, с начала сентября вымачивает, выхолащивает остатки лета. Архарову нравится. Хотя можно бы было и подрастянуть грибной сезон, но и так насушил вдоволь. Осенью и пишется лучше. Внутри все затихает, оседает и можно без горячности и суеты посидеть над словами. Идет проселочной дорогой. Его дом – новодел, в стороне от старого поселения. Долго строился. Все своими руками. Под себя. Заметил в себе это внутреннее желание отодвинуть и отодвинуться. И здесь-то людей немного, особенно по зиме, но и от них упруго отталкивает. Будто боится, что размагнитит его их плотное, сгущенное присутствие. Вот только...

Архаров входит в единственный на всю деревню кабак. Точнее – днем магазин, вечерами рюмочная. По краям, на грубо сколоченных лавках, за столами – местное старичье да ханурики. Архаров всю дорогу до кабака считал смены и не просчитался. Лера за прилавком и с теплой улыбкой кивает ему (всякий раз боится ее не застать). Лера еще молода, а уж о внешнем и говорить нечего, так что ее задержка в любимой Архаровым глуши ему удивительна. Он медленно подбирается, подтаскивает себя к мысли, что, может, и Лере эта глушь родная. Может, и она от чего-то отодвигается. Но Архаров не спешит с выводами, так как при разверстке скороспелых дальнейших действий со своей стороны боится просчитаться. Так уже раньше случалось.

Последняя стайка старушек, насплетничавшись вдоволь, уходит. Лера приглушает свет и, несколько напрягшись лицом, включает музыкальный центр под прилавком. Архаров подливает в кофе коньяка и кладет на стол блокнот. Без букв подолгу нельзя.

Не получалось писать с момента приезда Журавлева, и Архаров чувствовал, как в нем нарастала, распространялась пустота. В пустоте ушли слова Журавлева, позвякивало раздражение и подвывал страх утратить голос. Это тоже знакомо Архарову. Однажды не писал десять лет. Страшное, темное, пьяное время. Шабашил по лесам – зверея. Будто фонарь без батареек.

В кабак вваливаются четверо незнакомых. Вернее, проис-

хождение их известно Архарову – «черные лесорубы». В сезон много таких наезжает на незаконное, до излома. Архаров и сам, в те десять лет, промышлял мерзким. Рубщики обычно не засвечиваются в деревне, но Лера – достаточная причина, чтоб рискнуть и покуражиться. Устраивают свои небритые испитые морды за столом, и пока вполне себе тихие. После дневной валки слух устает от визга бензопил, и сейчас мужики расслабляют уши лирикой шансона из муз-центра, а утробы – водкой. Архаров, обменявшись с ними упругими жесткими взглядами, возвращается к блокноту.

– А еще про молодежь нельзя забывать! – с порога начинает Журавлев, разглядев Архарова. Редактор в несколько разобранном состоянии. В старой архаровской фуфайке, из кармана которой торчит бутылка. Присаживается за стол. Архаров убирает блокнот и закуривает. – Самый сложный сегмент! Молодежь сейчас совсем не читает! Интернет, брат!

– Не так громко, – говорит ему Архаров, поглядывая за его спину на лесовиков и на Леру.

– Да-да... а что это за дрянь играет?! Так о чем это я... да... Молодежь сейчас, как Клондайк. Там, брат, столько золота. Надо только способы добычи подобрать. Все над этим бьются. Заберешь их – заберешь будущее. Да и поинтересней в смысле поклонниц, хе-хе. Пришлось поездить по фестивалям для начинающих, и могу сказать, что намного поинтересней, если понимаешь, о чем я.

У Журавлева всклокочены волосы. Нездоровый цвет ли-

ца, в котором багровое послебанное замешано с бледным отходным. Несмотря на фуфайку и болотники, он заметно выделяется, как шампиньон в шарабане с лесным грибным сбором. Архаров не поддерживает его с водкой, потягивая кофе и посматривая по сторонам. Лесорубы становятся громче. Матерок набухает хмелем. Они попеременно подходят к стойке и, забирая заказное, подолгу кадрятся к Лере. Пока все пристойно, без протягивания через стойку ручищ, без раздражения несговорчивостью. Лера молодец – вежливая улыбка, но строгость во взгляде. Журавлев тоже обращает на нее внимание. Все чаще делает паузы, совершая корпусом пол-оборота в ее сторону.

– У-ух, какая, – причмокивает он, кивая на Леру.

– О чем ты там говорил? – отвлекает его Архаров.

– Да... о чем? Да хрен его знает! Поездить тебе надо. По фестивалям, премиям. Я порой вообще не представляю, когда твои собраты едят. По-моему, только бухают, трахаются и тусуются по всей стране... Был бы повод... Знаю, что ты из другого теста, ну а кто нет? Особенно в начале. Беда в том, что на этих толковищах все и решается. Кого печатать, кого награждать. Много паскудства, но выхлоп того стоит.

Журавлев более не может себя сдерживать и, шатко поднявшись, направляется к стойке. Чуть склоняет голову и, мягко поглаживая столешницу, что-то там шепчет, посмеиваясь. Лера, поглядывая на Архарова, проявляет к Журавлеву больше расположенности, чем к остальным. Как-ни-

как, гость Архарова. Один из лесовиков тоже подходит к стойке. Товарищи провожают его внимательными взглядами как своего делегата. Борьба за внимание Леры оканчивается перепалкой, и Журавлев, напоследок с уверенной улыбкой кивнув Архарову, идет за рубщиком на выход. Вслед за ними поднимаются и прочие лесовики. Архаров с досадой тушит окурок в пепельнице.

– Как ты сегодня? – спрашивает он у обеспокоенной Леры.

– Неплохо до последнего времени.

– Я его спать уложу и приду к закрытию, провожу.

– Хорошо... аккуратней, они диковаты...

Архаров перегибается через стойку и выуживает старенький двуствольный «Иж». Продувает стволы. Нашупывает в кармане дождевика патроны. Заряжает.

– Они рассчитались? – спрашивает он у Леры, направляясь к дверям.

– За кого меня держишь, я сразу деньги беру.

Архаров выходит на крыльцо. Чуть в стороне – Журавлев, окруженный лесорубами. Они озорно матерят его, разминаясь. Журавлев потерял в росте, поник плечами, заметно подрагивает. В ответ на мужицкий перелай он пытается что-то сказать, но лишь по-рыбы глотает воздух. Архаров устойчиво встает и, плотно прижав приклад к плечу, стреляет сразу из двух стволов под ноги рубщикам. Те, пригнувшись, рассыпаются по сторонам. Журавлев, с мертвенно-бледным лицом в вечерних сумерках, недвижимо цепенеет.

– Мужики! Вы чё такие беспокойные?! Мне казалось, ваше дело тишину любит! – перекрикивает звон в ушах Архатов, перезаряжая.

Лесорубы, поплевавшись для приличия, с неторопливостью и показным достоинством удаляются, сливаясь с дождем. Журавлев присаживается на мокрое крыльцо и не без труда прикуривает трясущимися руками.

– Да... и еще про стиль...

Дворник

...the beast in me, has had to learn to live with pain.¹

– Энд хау ту шелтер фром де рейн! – басовито подпевает, сардонически кривя окровавленный рот. Много демонов развелось в жилище Макарова. Путаются под ногами. Нашептывают жалобное. Нытики! Помимо него – много.

– Гад хэлп, де бист ин ми-и-и, – хохочет, давясь сырым говяжьим языком. Кидает со стола псам. После недолгой грызни кто-то чавкает, кто-то подвывает. В псов и запихивает демонов. Иначе не протолкнуться. Прямиком в пасть и забивает, до рвоты собачьей. Псы смиреют, демоны смиреют – далее кто-то всплывает на поверхность. Что удивительно, чаще собакины. Все-таки ближе бесам человечесье, и в животных

¹ В тексте рассказа цитируются строчки из песен Johnny Cash: «The beast in me», «I See A Darkness», «AintNo Grave», «Thirteen», «Redemption».

теряются. Макарову не жалко собратьев. И собачкам даже больше рад. Язычки у них тепленькие, а глазки умненькие. Любят, блин, его. С окрестных дворов сбегаются стаями. Он редких берет. Важен не размер – лапы крепкие должны быть. Если лапы крепкие, то его солдат. Сейчас их пять. Макаров избирателен в выборе последнего. Не нашел пока замыкающего. Гладит себя по волосатому пузу. Безразлично давится водкой. Задумчиво выводит перевернутый крест, макая толстый указательный палец в кровавую кашу. Давно перестал камлать, взывая к отцу. Последнюю черную мессу в весеннее равноденствие отслужил с песиками. Глухо...

Тело дворника – удалось. Высокий. Крепкие конечности. Печень была больная – подлечил. Устраивающий функционал. Морда тоже сойдет, если в порядок привести. Состричь колтуны спутавшихся волос. Сбрить неопрятную бороду. Но на черта. Тело дворника удалось и диету из сырого мяса, водки и молока выдерживает, словно бы и при жизни своей человечьей подобным обретался. Иногда прежний собственник тела прорывается, как, скажем, отрыжка. Макаров не прислушивается. Ведь его все больше. А того все меньше. А его все больше. Осталось только выяснить – зачем?

– Дид 10 ноу, хау мач ай ловью?

Натягивает джинсы, тяжелые черные ботинки, плащ-дождевик на голое тело. Вся одежда с помойки. Люди оставляют для бомжей, а Макаров не брезгует. Ранняя весна. Зимой и летом, на все похер. Мог бы и вовсе голым ходить, но и так

весь дом зашуган.

– Дид 10 ноу, хау мач ай ловью?! Иц э хоуп дат сом хау ю!!!

Псы в нетерпении мельтешат, встают на задние лапы, до крови расцарапывая грудь.

– Эн ден, ай си де даркнесс! Эн ден, ай си де даркнес! Эн ден, ай си де даркнесс!

Воющей ватагой вываливаются из подъезда, и Макаров с ходу швыряет в небо окровавленные объедки. Воронье не позволяет мясу коснуться земли.

Каждое утро – лед. К середине дня – квасня талая. Высыпанный за всю зиму песок чавкает под ногами говенным болотцем. Не любит это время Макаров. Второй год дворничает, и сейчас окончательно утвердился во мнении. Нет. Труд ему приятен. Каждое сокращение мышц смакует. Удивительно ему человеческое тело. Казалось бы, что в нем? Плоть на шарнирах. Но на самом деле – сад удовольствий. Тот самый, потерянный. Макаров смотрит на сонную утреннюю публику, что разбредается по работам, и в очередной раз ему не по себе от людей. Поколение за поколением они забывали, утрачивали. Поэтому и Бога своего не особо почитают. Ведь не разделить им восторг пращуров, которым чудеса первые явлены были. И осознание того, что сами когда-то чудом божьим слыли, более их не будоражит. Макаров же любит свое телесное обиталище, свой отдельный сад.

Лопата гоняет талую воду с песком. Брызги во все сторо-

ны. Наушники распяляются Кэшем. А так – скребущее скрежетание на всю округу. Дом Макарова на верхотуре. Всеми ветрами обдуваем. Ледяной ветер с мокрым снегом бьет по роже, срывает с макушки капюшон, выдирает наушники. Макаров матерится. Псы резвятся, повизгивая. Демоны носятся за ними, как похотливые суки. Макарову не до них.

На первом этаже от окна к окну перебегает ведьма. Она главная в ТСЖ. Жалуется на Макарова постоянно и не по делу. Не было ни дня, чтобы он не прибирался, но ей похер. Сучара не работает, хоть еще и не старая. Вообще не пойми чем занимается. Макаров как-то к ней зашел после очередной жалобы. Долго не открывала дверь. Затем через щель высунула физиомордию свою. Над верхней губой крем на мерзкой щетине, а на заднем плане – канарейка в клетке. Макаров не послал тогда ее на хер, а пожелал доброго утра. Жизнь послала. Во сколько бы он ни выходил, в пять, шесть утра, в ее окнах тут же загорался свет. Надзирает. Макаров частенько резко оборачивается и ведьма прячется за занавеску. Макаров хохочет. «Может, порешить ее и сожрать?» – думает он, но его тут же передергивает от этой мысли. Вспоминает крем над верхней губой. «Тогда уж лучше канарейку...»

После лопаты очередь метлы. Окурки выпрастываются из тающих сугробов на совок. С трудом выдираются из своего неолита. Так и будут слоями сходить, пока солнце не пожрет все сугробы. Запястья начинают ныть от неудобного хвата.

Мусорный бак – в последнюю очередь. Привычная тяжесть. Дом многое переваривает в своей утробе. Будни. Праздники. Встречи. Радости. Горести. Расставания. Поножовщину. Болезнь. Секс. Смерть. Все это оставляет следы. Макаров научился читать по мусору. У помойки воюет с бомжами. Мешаются, мельтешат, не дают толком бак опорожнить. Поджопниками гоняет особенно дерзких, на прочих собак напускает. В подвале тепло и сухо. Спускается отогреться, водки выпить. Песочек на полу. Воздух плотный, влажный – укутывает. Макаров курит, прилегши на старый картон. Как только потеснил дворника в дворнике, так и крысы ушли из подвала. Точнее, попросил – не отказали. Макарову мечтается в подвал растений экзотических понанести, света добавить и вот тебе готовый оазис.

Прямо здесь можно будет бухать и трахаться. Не водить домой, а пялить прямо под полом ведьмы. Вот потеха.

Финальным аккордом лицо дома – крыльцо. Выскабливать полагается дочиста. Не допускать обледенения. Ведьма проверяет. Всю влагу выгонять. Из-под решетки особенно. Макарову нравится. Будто побрился начисто. Хотя, может, это все тело? Тело дворника радуется? А кто он такой, собственно? Пора перестать думать отдельно. Не переоценивать «отрыжку».

– Дид 10 ноу хау мач ай ловью?! Иц э хоуп дат сом хау ю, ха-ха-ха...

Когда он закончил, вышло солнце. Подсушит все как сле-

дует. Ветер дометет остальное. Пора рубить мясо.

В молоке витамины, в водке радость, в мясе белки. Макаров неприхотлив. Мясом разживается на второй работе: шашлычка в торговом центре неподалеку от дома. Устроился рубщиком. Ползарплаты мясом. Чего еще желать? С лихим присвистом по суставам и мышцам. Брызжет паскудина, хоть и мерзлая тушка. Собственный топор носит за пазухой. Часами полирует, затачивает. Чем еще демону заняться? Черные хозяева шашлычки ходят кругом, посматривают не без зависти и уважения. Не видели, чтобы кто-нибудь так рубил – талант. Пока никого нет поблизости, срезает с туши тонкое, перекусывает свежатиной. Рассовывает кости по карманам, для собачьего войска. Заждались уже. Воют под окнами.

– Дер эйнт ноу грейв, кан холд май бади даун! Дер эйнт ноу грейв, кан холд май бади даун!

В магазине бичпакеты – для бичей. В аптеке боярышник – для оных же, «бояр». Разок сам попробовал – не его букет. Ждут уже, бояре. Поглаживают псов, к нему тем самым подлизываясь. За торговым центром два контейнера. В них овощи обычно хранят. Хранили. Сейчас в них «фруктики» обретаются, все сплошь перегнившие. Местная алкашня. Его круг, его пентаграмма общения. Разбирают гостинцы. Радушно похлопывают, уступая лучшее место в своем гадюшнике. Макаров забавляется игрой в распознавание. Если кого-то не доискивается, значит, подошли. Пополнение в аду.

Весь отчий дом к его возвращению загадят. Впрочем, он перестал верить в саму возможность возвращения.

Средневековье на задворках супермаркета. До старости не доживают. Болезни лечат кровопусканием. Водой брезгают из боязни травануться. Свальный грех по праздникам. Макаров частенько находит здесь «свет моей жизни, огонь моих чресел»². Правда, дело тонкое. Важно не опоздать. Поспеть до того, как очередную дамочку опустившуюся попортят «фруктики». Эти женщины приходят сюда, когда идти больше некуда. Скатываются, сползают с чистой гладко выбритой щеки божьей в непотребство нижнее. Макаров подхватывает огрубелыми руками дворника и несет в свое логово, а там дотрахирует огрызки души. Он почти осязает их съезжившиеся, изъеденные пьянством и развратом душонки. Боятся его. Забиваются жалкие карлики в руины человеческого. Пытаются спрятаться в развалинах. Но Макаров и там их настигает и дотрахирует. Потом слушает истории. Бабы истории о том, как мир жесток. Как их сломали мужики и скольких детей они потеряли. Скольких никогда не увидят и как они их любят. Макаров кое-что утаивает и не открывает, только ему известное. Про самый страшный грех он умалчивает, чтоб раньше времени не расстроились и продолжали насасывать. Про грех матери. Не рассказывает дамочкам, что мать, бросившая ребенка – любимое лакомство чертей. Что

² «Свет моей жизни, огонь моих чресел» – роман «Лолита» Владимира Набокова.

«Мать – это имя Божие на устах и в сердцах всех детей»...³

Бояре сегодня какие-то загадочные. Улыбаются таинственно, меж собой переглядываясь. Чуть похмелившись, они торжественно вводят ее. Подарок Макарову. Жертвоприношение. Специально для него сберегли новообращенную. Не притронулось племя к заблудившейся в чаще. Право первой ночи... Макаров изучает смущенную скво. У нее, блин, полбашки нахер нету. Правая половина черепа, по ко-сой от крайней точки лба к крайней точки надбровной дуги, почти плоская.

– Что с тобой, милая?

– Муж дверь о голову закрыл... несколько раз.

– Изящно...

Она никогда не привыкнет к этим вопросам, взглядам. Макарову сейчас на это плевать. Полбашки нет, а остатки лица – прекрасны. И пьянство не все пожрало. Отметилось малостью морщин и жесткой носогубной складкой. Глаза серые, дикие – опасное серебро. Сама высокая, стройная. Зашевелился дворник в Макарове. Хрен встал, дворник зашевелился, и демоны впервые за день притихли. «Там еще поле не паханное, трахать не перетрахать душеньку», – думает он, галантно потеснившись. Усаживает рядом с собой на чистое. Шикает на бичей с их боярышником и, подув в стакан, наливает собственное. Наблюдает за тем, как она пьет. Радует-

³ «Мать – это имя Божие на устах и в сердцах всех детей» – фильм «Ворон», 1994.

ся, что замечает в ней жадность до водки. Значит, все-таки увязла. Давно больна. Далеко зашло. Не вернуться. Далеко зашла. Не вернется. Есть на что опереться, с чем поработать.

– Называйте меня Макаровым.

– Называйте меня Ликой.

– Ты, бл..., что о себе думаешь?! Я буду называть тебя так, как мне захочется.

– Все-таки лучше начать с Лики.

– Хорошо... Лика.

– Я здесь вторую ночь... Все говорят о вас. Вы кто?

– Я дворник.

– О дворниках так не говорят.

– Как?

– Со страхом и уважением.

– Просто я страшный и уважаемый... Я страшный?

Лику поворачивается не обезображенной стороной лица и смущенно изучает Макарова.

– Я парикмахер.

– Я дворник.

– Я вас подстригу... и нет, вы не страшный.

– Я ем сырое мясо.

– Я его поджарю для вас.

– Это я тебя отжарю, суч-ч... Лика...

– Вот видите, с именем уже справились.

В постели тоже странное своеобразие. Это Макаров узнал

тем же вечером. Лика старается. Не эгоистка. Заметно проголодалась, но ее жадность до ласки не отталкивающая. Обычная жестокость Макарова как-то не увязывается с Ликой. И прихватывает-то за волосы, но тянет без усердия. И смыкает-то ручищи на ее шее, но не передавливает. Иная музыка соития. Что-то новенькое. И вроде как достает хером своим, дотягивается до души бабской ее, а кончает, о другое разбиваясь. Иная музыка...

Несколько суток пьют и совокупляются. Лика в перерывах прибирается в его логовище. Приручает пространство. Макаров не против. Лика всякий раз, когда думает, что Макаров ее не видит, тискает фотокарточку. Дворник и без вящей заинтересованности знает, кто там. Очередное чадо. Агнец светлоокий, безвинный, брошенный. Но не в случае Лики. В ее случае – отобранный.

Лику выгнал муж. Оторвал от сына. Макаров чует запах незаживающей души. Бывший муж – спивающийся доктор. Скатился. Катается теперь на «скорой помощи». Све-кровь за мальчиком присматривает. Пятилетний херувим – Сёмочка. Лика подвывает по ночам. Собаки вторят. Бесы облизываются. Макаров пьет и увещевает чертей оставить Лик-у в покое. Двери об голову врач закрывает с недавних пор. Лика говорит, что будто подменили. Макаров хохочет. Осекается. Муженек работал педиатром. В церковь ходил. Не на показ, а действительно веровал и ее приобщал. Пытался лечить верой. Лика не то чтобы бесчинствовала – просто за-

пойная. Тихонько утоляла жажду да о Сёмушке заботилась, пылинки сдувала. Сам мальчик случился чудесным образом. Когда забеременела, то думали аборт сделать: возраст, здоровье, алкоголизм. И было назначено число, но в анализах нашли гепатит. Отказались абортировать до обследования. Свезли в инфекционную, а срок уже поджимал. В общем, к выписке уже поздно было, и ей так и сказали: «Очень жить хочется ребеночку вашему».

Макаров пристраивается к Лике. По-другому не умеет пожалеть. Она отталкивает – он не перегибает. Странная баба. Странно Макарову рядом и поодаль. Когда выходит двор убирать, то опасается, вернувшись, не застать ее. Так не раз случалось с другими скво. Обычно сам выгонял, и уходили пустыми, до дна вытраханными. Лика уже долго живет. Много дольше остальных. Странно...

Будто подменили доктора. Стал вместе с Ликой выпивать. И не ее аппетитами. Остервенело. Говорил, что свет ушел. «Из него, бл..., свет ушел!» Лика недоумевала. Макаров видел уже такое. После попоек доктор ее винил, что это она, мол, ему бутылку сосватала. Мол, он ее из говна, а она его – в говно, и как теперь детишек лечить, когда не чувствуешь, когда свет ушел. Шарахались от его рук детишки. Руки научились делать больно. Поначалу бил изредка. Дальше – больше. Лика однажды воткнула ему в шею ножницы. Не помер. Родовались вместе. Снова любили. Примерно пару недель. А потом дверь закрыл о ее голову... несколько раз. Чудом вы-

жила. Больше не любила. Лика сожалеет, что дурочкой после не осталась. Имелись все шансы. Было бы легче, наверное. Из больницы вернулась к той же двери, только запертой. Уже не мешалась ее голова. Свекровь по ту сторону объявила общее с сыном решение о том, что более Лика с ними не проживает. Не совсем общее. Сёмушка рыдал в замочную скважину. Звал Маму. Мама молча ушла, кутая обезображенное лицо в воротник пальто.

Макаров ерзает. Банально все это, и слышал не раз подобный жанр. Слышал, но не вслушивался. А сейчас с ним делятся, и это прилипает к Макарову и вроде как его становится. Его переживанием. Слово-то какое – ПЕ-РЕ-ЖИ-ВА-НИЕ... Это не мясо пережевывать, которое с недавних пор жареное. Это – ПЕ-РЕ-ЖИ-ВА-НИЕ... Тьфу! Дворник все чаще стал елозить внутри Макарова. Поднимает его со дна на поверхность, тащит нечто. Макаров не сразу прогоняет. Прислушивается. Дворник долго молчит. Молчание не пустое, и когда дворник уже было собирается ему что-то сказать, Макаров его топит. Впервые чувствует общее. Переживание. Оба о чем-то неясном догадываются.

День рождения Сёмочки. Лика садится напротив. Пришло время. Макаров недовольно ощеряется. Собаки и демоны возбуждены, суетливы. Доктор, ну тот, из которого свет ушел, не дает сына поздравить. Уже давно перестал на телефонные звонки отвечать. Раньше хоть переговаривалась с сыном. Голосом его из трубки питалась, жила. Рассказыва-

ла Макарову о новых словах, что Сёмочка произносит. Муж хотел ее вернуть. Заманивал ласковым голосом. Лика знала зачем – добить. Макаров скалится на это ее соображение, глуховато порывается с псами. Сколько времени пройдет, прежде чем сын не узнает ее голос, прежде чем ужаснется, случайно встретив на улице страшную тетю.

– Знаешь, зачем я с тобой пошла?

– Я охеренный?

– Думала, что такой убьет.

– Да брось, просто не смогла устоять, ха-ха...

– А ты не убил, но я по-прежнему думаю, что способен помочь.

– Может, просто украдем его? На прогулке, там... из сада?

– Не носи!

– Сколько там, бишь, ему?

– Шесть лет исполняется...

– Угу... кхм... значит, вот тебе деньги на подарок, адрес напиши на бумажке.

Июнь выдался жарким. Псы изнывают и вяло, по-волоньи обмахиваются хвостами от помойных мух. К вечеру не так печет. Макаров переживает дневную духоту в прохладных контейнерах «фруктиков». Почти все незнакомые. Один остался из тех, что весной привели ему Лику. Совсем старый и больной. Не берет лицо загар. Бледный, потный, почти не пьет. Плохой признак. Перемежает кровавый кашель

с болтовней о боге. Спешит к нему. Уверен, что там его заждались. Макаров хохочет. Никто не ждет. Ни наверху никого, ни внизу – не ждет. Старик обзывает его нехристом. Раньше-то и смотрел кратко, едва промаргивал Макарова и опускал голову. Теперь не боится. Макаров дает денег старику и выпивает на посошок. Еще раз вглядывается в мятую бумажку с адресом.

Три сигареты спустя добирается. Потный, бледный, задумчивый. У подъезда вызывает такси и в ожидании распечатывает шкалик. Выстроившиеся перед ним демоны также непривычно молчаливы. Смотрят всем, чем умеют, и молчат. Торжественные, мать их, какие-то. Макаров догадывается, почему. Потный, бледный, задумчивый. И водка не лезет. Когда такое было? Плохой признак. Подъезжает такси. Просит водилу дожидаться его, он, дескать, быстро. Псы окружают машину – не уедет.

Поднимается, озираясь на номера квартир. У нужной замирает. Прикладывает ухо к дверному проему. Слышит мальчика и еще кого-то. Не важно. Стучит. Дверь открывается, и он порывается вперед, но цепочка останавливает, и свекровь с той стороны подозрительно косится. Не дает ей и слова вымолвить. Быстро проводит топором сверху вниз, срывая цепочку, и толкает дверь. Мальчик появляется в комнатном проеме. Макаров отбрасывает топор в сторону и кидает свое тело к нему.

– Подожди, милый! Скоро к Маме пойдем!

Запирает малого в комнате. Бабка все это время виснет на нем, дерет волосья, царапает спину. Дверь ванной открывается. Нет времени на старую. С размаху, тыльной стороной кулака сшибает ее в угол.

– Мама?! – А вот и доктор. Смотрит на Макарова. На мать в углу. Прыгает на Макарова. Высокий. Не пропил еще силу. Макаров неудачно запинаясь о половик и доктор, оседлав его, охаживает кулаками. Радуюсь боли, чувствуя кровь, Макаров не глядя вставляет руку с наверху кулака вертикальной шпалой снизу вверх. Удары идут на убыль и совсем прекращаются. Доктор изумленно смотрит на Макарова, рукой прикрывая рот. Когда убирает ладонь, на Макарова проливается кровь вперемешку с зубами.

– Ты мне шелусть шломал!!!

Дворник хохочет и почти любовным рывком бедер вверх сбрасывает доктора. Теперь он на нем восседает. Не глядя загребает из-за спины первого попавшегося демона и, запуская пятерню в раздолбанную пасть врача, утрамбовывает туда черта. Доктор закашливается. Макаров наваливается на него всем телом, не давая сблевать. Доктор бьется в непродолжительных конвульсиях, но вскоре затихает.

– Все? – спрашивает Макаров.

– Шлезь ш меня...

Макаров отваливается в сторону, к стене. Отдыхивается. Доктор с трудом поднимается. С безобразной улыбкой кивает Макарову. Осматривает себя со всех сторон.

– Ты мне шелуху шломал, – обидчиво бурчит он.

– Вылечишь, ты же врач, хех...

– Шерьешно? Врач?

– Угу.

– Годно...

Макаров ощупывает внутренний карман и облегченно достаёт бутылку. Не разбилась. Делает большой глоток. Передаёт доктору. Тот пьёт и давится с непривычки и боли. Оба ржут.

– А ш этой што? – кивает доктор на так и не очухавшуюся свекровь. – Мошно, я ее шьем?

– Это мать твоя!

– Так мошно?

– Не можно, дебил! – раздраженно отмахивается Макаров и с трудом поднимается. Оглядывает все таких же молчаливых, но беспокойно переминающихся чертей. Выбирает самого мерзкого и никчемного и направляется с ним к старой.

– Как очухается, объяснишь ей.

– Агаме...

– И смотри не сожри... мне пора...

Макаров осторожно открывает дверь в детскую. Мальчик сидит за столом. Рисует. Оглядывается на Макарова. Опасливо так, скоренько, и снова в рисунок. Побеивается.

– Привет, Сёма!

– Здравствуйте.

– С днем рождения!

– Спасибо.

– Поедем к маме?

– Да-а-а! – протяжно и вмиг повеселев, восклицает мальчик.

– Она тебя заждалась. Никак не разберется, что с подарком делать. Покажи, где твоя одежда.

Спускаются. Такси не уехало. Псы ластятся, довольные собой, облизывают мальчика. На столе дрожит от сквозняка рисунок: черный человек с метлой в окружении собак и воронья.

Пока ехали, мальчик уснул на коленях Макарова. Тот поглаживал его по голове и курил в окно. Похож на мать. Русые волосы, а в глаза серебра просыпано. Теплый. Потеет во сне, подергивается. Мать тоже беспокойно спит. Обрадуется... как же она обрадуется. Вот к чему все пришло. Никак не предполагал, что шестой будет радостью. Никогда бы не подумал, что хоть кого-то на этой земле порадует. Неисповедимы... Ничьи... Ни того, что изгнан – пути, ни того, что изгнал.

Передает спящего мальчика Лике. Та принимает на руки бережно. Красивая. Неисповедимы... Вся обращена к ребенку. Единение. Макаров лишний. Его заслуга. Доволен собой. На славу потрудился. Прибрался. Никто не упрекнет. Лишний...

Глубокой ночью Макаров будит Лику и отводит на кухню.

– Обещала подстричь.

– Садись.

Лица моет его голову над тазом. Ее руки приятно мнут череп. Склоненное лицо Макарова лижут псы. Отмахивается от них. Не дает пить из таза. Пьет водку. Жадно. Не от жажды жадно, а впрок... Макаров более не гонит дворника. Не топит. Да и не уверен, сможет ли уже. Не скажет с уверенностью, кого сейчас в нем больше... грустно... Волосы опадают по сторонам, щекочут щеки. Макаров хихикает. Смаргивает слезы. Гладит Лику по коленкам, вжимаясь лицом в ее грудь. Та просит, чтоб не дергался – опасно. Похоже на онемение. Будто все тело немеет. Перестаешь чувствовать, управлять. Прощай, чудесный сад. Бритва скользит по щекам. Макаров недвижим. Не дергается. Даже если бы захотел. «Ты кто?» – спрашивает дворник, проявляясь все четче. – «Не важно... уже ухожу... за псами присмотри...»

Демоны не хотели уходить. Тогда он стал тихонько им напевать.

... фром де хандс ит кейм даун...

И потянулись тени за тенью.

... фром де сайд ит кейм даун...

Прочь из жилища дворника.

... фром де фит ит кейм дау...

С чисто выметенного двора, в белую ночь.

... энд ран ту де граунд...

Идеальное устройство

Устройство таракана, как и всего прочего, временно живого – всегда интересовало Аксена. По черной узловатой поверхности стола полз к хлебу – рыжий, с зимы сонный и глупый. Шесть лап, усы и крылья. Немногие разглядывали крылья. Да и кому вообще это надо, кроме любознательного Аксена. Но он про крылья знал. А еще знал, что самцы от испуга и взлететь могут. Вот бы человека кто так напугал. Аксен хмыкнул недвижимо при мысли, что и сам бы мог так же ползти к съедобной горе. И что бы его остановило? Ведь экая горища восхитительная и вся съедобная. И если бы человеческий мир состоял из таких вот вкусных питательных громад, то не было бы нужды убиваться. Ниже пояса у Аксена шевельнулось от плотно представленной мысли о жизни, полной размножения и сытости. И того и другого в его собственном временно живом существовании никогда толком не случалось. Аксен еще раз напоследок рассмотрел почти прозрачного, с взъерошенной шерсткой лапок и подрагивающими усиками таракана и, незаметным быстрым движением

схватив хлебную, подходяще подсохшую краюху, придавил. Отчетливый краткий хруст в очередной раз утвердил Аксена в мысли, что надо быть мягче. Мягкое убить сложнее. Залюбовавшись рассветным солнцем, осветившим скудный интерьер его избы, Аксен доел хлеб и запил его смородиновым кипятком.

Пробудный утренний мир возбуждал в Аксене самые благодостные чувства. Умилял, можно сказать. Все это пока неповоротливое, медленное, беззаботное население земной тверди по утрам не помнило о смерти. Ведь вот накануне с приходом ночи уже пришлось помереть, а сейчас смотрите-ка, воскресли, и в отдохнувшем теле столько здоровья и свежести. Легче всего убивать по утрам. Аксен, умываясь дождевой водой из бочки на дворе, сам все оглядывается с улыбкой за спину, не крадется ли озорник какой по его собственную утреннюю безмятежную душу. Но таких прозорливых не сыскать, ведь убийцы и жертвы по утрам на одной ладони: вот бы накрыть бережно всех разом и, встряхнув в кулаке, перемешать.

Работать еще рано, и можно побродить по вкусно пахнущему лесу. Изба Аксена на самой окраине деревенской. Всего домов и полсотни не насчитаешь, даже часовенку не смастачили, но и здесь живут. Северный край сгущает людей, срезает шероховатости и минимум, необходимый для выживания в других местах, здесь его максимум. С пригорка Аксен поглядывает на оживающие человеческим прямохождени-

ем дворы. Прислушивается к неопрятным звукам людской речи, оттесняющим природные ночные. За спиной все это оставляет, широким шагом приближаясь к гордому лесному массиву. Росту в Аксене немало, до многого дотягивается. Правда, недоедливую худобу хочется наполнить не только мышцами и сухожилиями, но и плотным мяском. Аксен не считает свое время, только на десятки обращает внимание. Помнит, что сейчас пятый пошел. Волос уже не такой густой, и седого в нем больше, чем русого.

Утренний лес дышит медленно, взвеси туманные, будто все оплетающая паутина. Аксен даже задирает голову в неосознанной попытке увидеть подбрюшье того несусветного паучины.

Резиновые сапоги прохудились за зиму от сухого истопного воздуха и пропускают росистую влагу. Но Аксену это даже приятно. Раньше и вовсе обувью пренебрегал, бродя по лесам босыми, мозолистыми, с шарообразными косточками стопами. Но шкура аксенова все тоньше, и мозоли скорее болят, чем оберегают: так что теперь только так – в сапожках с дырочками.

Он медленно пробирается своими тропами, разгребая руками ельник, приближаясь к полянкам с лиственной породой. Выйдя на такую, обхаживает осинки. Поглаживает ветки, прихватывает кольцом большого и указательного пальца. Находя нужную, срезает исходящую пенистой влагой ветвь и пристраивает на пояс в веревочную петлю. Близится лето, и

тогда ремесло Аксеново еще как люду понадобится. Известный мастер силков, ловушек, мышеловок, капканов – Аксен более всего преуспел в изготовлении мухобоек. Крестьянского труда избегающий, по естественной странной неспособленности, Аксен и выживал до сего дня только орудиями точного убийства. Не шибко для радости телесной выживал, но и на том спасибо. Странное его ремесло не всегда было ему по душе. Многое возмущение ерзало в нем по молодости, но смирило его ощущение предназначения. Когда нечто выходит с природной ловкостью и сноровкой, то примиряешься с самим характером этого ловкого и просто радуешься.

Возвращался, когда уже птицы вдоволь прочистили глотки утренние и со всем прочим занялись делом. Значит, и ему пора. В небольшой пристройке в стороне от дома была его мастерская. По дощатым стенам на сотых гвоздях были развешены: железные скобы капканов, петли силков, заготовки мышеловок, плетеные сетки самоловов. Аксен, присев на чурку, принялся ножом обтесывать свежесобранные ветки. Лезвие шло замечательно легко и ничуть не занозливо. С живого, пока еще не подсохшего дерева всегда хорошо слезает кора. Аксен даже проголодался от этого сладкого процесса и украдкой облизывал осиновый сок с пальцев. На полу рос змеинный клубок срезанной коры, и он нервно вздрагивал, когда случайно бросал взгляд под ноги. Закончив со свежаком, сложил на полку, чтоб просушилось, а с полки пониже

взял уже годные для работы заготовки.

Всякий может сделать мухобойку. Принцип не так и сложен. Но самодел будет ломок, либо тяжел, либо мазать все стены дрянью насекомю, либо сдуть кровопивцев разнообразных вовсе. Аксен долгие лета совершенствовал свои устройства. Сейчас начал с того, что загонял в ветки железные пруты. Не на всю длину. Чуть заходя за держало. Навершие с ударной частью должно было сохранять некоторую гибкость. До этого он уже обработал подсохшие заготовки своим особым составом из машинных отходов, чтобы они не щепились при вгонке стержня. Аксен нежно, едва ли не прислушиваясь к дереву в тисках, вводил прутья в сердцевину. Где протаскивал с натугой, а где легко, чуть ли не рывком вгонял на нужную длину. Вроде одна и та же начинка деревянная, ан нет, каждая ветка со своим характером потеряла жизнь. Одни обозленно-черство растрескались, другие обреченно-расслабленно размягчились. Когда Аксену случалось бывать на деревенских похоронах, куда его звали не из особой приязни, а из корыстной необходимости, он и там приглядывался к более не живым. Уложенные во гробе, они сохраняли на своих холодных лицах то, что было понятно Аксену. Считывал он с лиц покойников, как оставляли они свои тела. И понимал, какое усердие понадобится, если и в них вдруг придется втиснуть железную спицу.

Закончив с ручками, выволок из-под скамьи автомобильную камеру и стал кроить шлепала. Нож с мягкой неотвра-

тимостью, словно по подтаявшему маслу, шел по резине. Движения Аксена были точны, и не было нужды в лекалах. Резиновые черные шматы выходили одноразмерными, и он складывал их в ладную стопочку на краю верстака. Думал о том, что смерть – это все-таки черный цвет. Кровь с мясом принимаются черным естественно, без расстраивающего взгляд безобразия. Вот и люди черными своих провожают, и те недолго остаются бескровно-бледными и вскорости тоже чернеют.

Подготовленные ветки и резиновые шлепала надо было совместить, приспособить друг к другу. Аксен расщеплял концы веток и, раздвигая деревянные рты ножом, втискивал туда черные языки шлепал. Далее перематывал накрепко бечевой и для пушей надежности, поверх, еще проволокой. Время все равно рано или поздно расслабит крепленое, но Аксен хотел отыграть у него как можно больше и от вящего усердия весь пропотел и продрог пальцами. Справившись с самым важным, размял кисть взмахами каждой заготовкой. Все держалось ладно. Самой приятной работой для него была последняя ее часть. Аксен окунал чуть взъерошенную кисточку в баночку и покрывал лаком ручки мухобоек. Прозрачный вязкий мед лака принимался деревом, пропитывая каждую трещинку, каждый заусенец. В Аксене тоже в тот момент все смягчалось. Обветренные тисненные черты лица разглаживались, слегка затронутые улыбкой. Носом он чувал переминающуюся у дверей мастерской весну, и оставалось

только дожидаться, когда нарождаются временно живые, для которых он уже изготовил свои идеальные устройства.

– Ты чего, старая, их в рукавицу-то? Тесно ведь.

– А не все равно ли?! Столоваться будешь или с собой жарчку прихватишь?

– С собой... пищат ведь...

Бабка неприязненно смотрела на Аксена и на шевелящуюся, наполненную попискивающими котятами рабочую промасленную рукавицу в его руках. По бабкиному холщовому, цвета мешковины лбу ползала муха. Она не могла не чувствовать щекотливого зуда, но словно откладывала отмахнуться. Аксен украдкой пододвинул к ней лежащую на столе мухобойку, покрытую сукровистой размазней.

– Иди уже, убивец!

Аксен еще раз разочарованно коснулся мухобойки и, прихватив кулек съестного, пошел к дверям. Уже на выходе услышал звонкий шлепок и улыбнулся. Звук был хороший – его работа. Аксен, выходя со двора, оглядывался на селян и хотел как-то спрятать шевелящуюся рукавицу, но запахнуть было нечем, лето выдалось жарким. Сунул под рубаху и, хмыкнув, вздрогнул от прикосновения к коже теплого и мягкого.

– Здоров, Аксен! – поприветствовал его Пашка, сын деревенского старосты. – Уж лучше б баба с ведром!

– Чаво? – не понял Аксен.

– Примету знаешь?

– Про бабу?

– Не, та старая. Новую. Встретил Аксена – быть неживому.

Аксен на секунду задумался, перекатывая словечки в голове.

– Не складно как-то, – нахмурился он

– Зато жизненно. Моя женка по осени разродиться должна, так что будь добр на глаза не попадаться.

Пашку Аксен помнил еще пацаном, который с опаской заглядывал в его мастерскую и просил в подробностях рассказать об устройствах Аксеновых. Прошлым годом Пашка вернулся из армейки и дюже поздоровел и поглупел. С месячным коромыслом стоял над деревней от его загула дембельного. Сейчас Пашка с опасной похмельной улыбкой зыркал на Аксена и сжимал и разжимал кулаки.

– И самолеты заказные оставь под забором, мои прохутились.

– Щучные?

– Х...чные! Ха-ха!

Пашка, покосившись на шевелящийся живот Аксена, сильно ткнул туда пальцем и, удовлетворившись достигнутым жалобным писком, похохатывая, зашатал по дороге. Аксен поглаживая обеспокоенно заерзавшую рукавицу, подвигал в сторону озера. Во рту было горько и терпко. «Встретил Аксена – быть неживому... Аксена – неживому... встретил». Аксен проговаривал про себя досадливое и не понимал лю-

дей. Плохого чего, чтоб настроить супротив себя, ничего им не сделал, а отшатываются от него брезгливо всем селом. Денег за работу не просит. Довольствуется малой щедростью. Но доброго слова не слыхивал по душу свою, будто весь пропах ремеслом своим своеобразным. Теперь вот уже приметой его сделали. Да еще какой.

Обойдя стороной деревенский пляж, с которого доносились взвизгливые детские радования и бабьи окрики, Аксен, отмахиваясь от озверелых от жары оводов и слепней, пошел берегом. Во всем деревенском размещении у Аксена были свои особые, обособленные необходимостью места. Скрытые от прочих глаз тайным его деланием. От ламбы тянуло рыбным запахом, прибрежными камышами и прелым илом. Аксен временами зачерпывал с мелкоты прохладную горсть и отирал потливый затылок. Оводов и слепней сменил лесной гнус, но Аксен особо не мешал кровопивцам, желая перед предстоящим пострадать. Лишь отгонял от елозящего в рукавице. Огибая краями озеро, Аксен с удовлетворением отмечал затухание деревенского гула. Чем тише – тем ближе к искомому. Вскоре только комариный гундѣж да журчание близкой речки остались. Речка была небольшая, в четыре шага. Темным густым течением – рукавом – связывала она их озеро с другим, на пару верст в лес отстоящим. Заповедно и укромно было здесь. Аксен отложил на пень узелок со съестной платой своей и, выпростав из-под рубахи руку с попритихшей кошатиной в рукавице, двинулся к берегу.

Сколько раз ему придется еще сюда хаживать? Первые летние месяцы Аксен про себя именовал «мяучливыми». Нагулявшиеся по весне кошки приносили «мяучливую» мелочь, и Аксен собирал их по дворам и сносил к реке. Казалось бы, радуйся привалившей сытости. Но год от году Аксен все чаще стал давиться вкусной благодарностью, а пришедши к реке, и вовсе не хотел возвращаться.

Аксен прихватил веревочной петлей горловину рукавицы. Он вдруг взвесил в руке свою ношу и зачем-то прикинул, что и килограмма временно живого не наберется. «Сколько ж надо, чтобы жило это почти невесомое? Ведь суший пустяк». Аксен подумал, что только человеческой твари на этой земле вечно чего-то не хватает. Вечно недостает. Все остальное в жизнедеятельном прокорме своем неприхотливо, и каждому временно живому природой его скромная часть выделена и достаточна.

Присев на корточки, Аксен ладонью погладил течение: ничего так, прогрелось с весны уже. В варежке движение почти не ощущалось, разомлели, видать, от зноя, спят. Аксен быстрым движением опустил руку на глубину и сильно толкнул, втиснул в равнодушное течение рукавицу. Темная вода приняла подношение и скрыла от глаз всего надводного временно живого мира. Аксен до ломотной боли в затекших коленях задумчиво посидел над рекой и, покряхтывая поднявшись, пошел к пню со свертком. Время полуднее, нужно поесть... только бы не задавиться опять...

Окружение притихало. Аксен почти кожей ощущал, как мир с приходом осени остывает от летнего и, пошатываясь, приспускается на коленную опору, принюхивается к новому холодному промозглому воздуху, различая слабые, но уже отчетливые нотки первого снега. Аксен любил это время. Сама природа становилась идеальным устройством по усмирению чрезмерно оживившегося за летнее время. Лес откашливался красно-желтым лиственным, и над его ржавеющим заливком пролетали птичьи стада. Аксен на славу потрудился и был изрядно востребован минувшим летом. Все сработанное его руками в чужих руках не поломалось и отлично послужило. Капканы – хватали и не отпускали, самоловки – ловили, мухобойки – били. Аксен бродил по лесам за грибным и ягодным сбором, а вечерами дрова заготавливал.

В тот смурый день ветер вперемешку с дождем, казалось, хотели запереть Аксена в избе. Напирали снаружи на неподатливую, по осени разбухшую дверь. Аксен, крикнув от натуги, отворил ее таки и жмурно вдохнул несколько литров моросливого воздуха. Одной ногой снаружи, вторую, еще домашнюю, двигать совсем не хотелось, но Аксен, удивленно ухмыльнувшись своему странному настроению, все равно вышел за порог. Пространства снаружи было заметно больше. Омертвевшие деревья его освобождали, скинув листву. Травы увядшие, прижавшись к разлюбившей их земле, его раздвигали. Временно живые, особенно те, что крылатые,

сбегали к теплomu и покидали пространство. Аксен, прихватив шарабан, пообещал себе, что ненадолго и недалеко.

Все ближнее лесное было уже обобрано, и поневоле пришлось зайти дальше привычного. В тишине мокрого ельника Аксен подбирал последние грибные отдарки, когда за спиной услышал хруст. обернулся. Во временно живом было изрядно роста и много рогов. Лось, выпуская пар из запыхливых ноздрей, недолго и жалобно посмотрел исполошенными навывкате глазами на Аксена и потрусил дальше, проламываясь через бурьян. Аксен срезал крепкую сыроежку и, закинув в шарабан, решил вытоптанной лосем тропой возвращаться. Когда поднимался с корточек, на него с большим, чем от лося, шумом выскочил Пашка с двухстволом на предплечье. Он вскинул ружье на инстинктом прикрывшего лицо Аксена, но, сильно матюгнувшись, осекся.

– Б...ский живодер, ты-то, мать твою, откуда?!

Аксен растерянно пожал плечами.

– Батю видел?

– Не-а...

– А сохатого?

Аксен, не отрывая взгляда от по-прежнему разглядывающего его черными дырами стволов ружья, махнул в сторону.

– Встретишь Аксена... – злобно недоговорил Пашка и поспешил по аксеновой наводке.

Аксен видел меж деревьев, как, не пробежав и пятнадцати метров, Пашка стопорнул и навскидку стрельнул. Аксен за-

помнил, что Пашка, с восторженно-расплывшейся похмельной мордой, обернулся, счастливо улыбнулся ему и помахал. Аксен улыбнулся в ответ и тоже было собрался помахать, но рука почему-то на полпути отяжелела и вернулась к бедру. Пашка скрылся в направлении выстрела, а Аксен, оправив ремни шарабана, пошел своей дорогой, но и пяти шагов не сделал, как услышал горловой страшный человеческий вскрик. Аксен остановился, удрученно снял с плеч шарабан и прислонил его к ели.

Шум возвращающегося Пашки был отвратительно разорителен и неотвратим. Не выбирая дороги, оскальзываясь на корнях и падая, он продирался к Аксену. Последние два метра Пашка доел прыжком и приклад ружейный, промахнувшись головой, нашел Аксенову грудь. Аксен падал отчего-то очень медленно, лес вырастал над ним, а он проваливался, и казалось, что не будет конца этому опрокиду.

– Там Батя!!! А-а-а!!! Ба-тя!!!

Пашкины слова вспенивались слюной и из углов его раззявленного рта проливались на Аксена. Он как-то бережно придерживал молодого за талию, пока тот взбивал кулаками обветренное мясо его лица. Пашка, устав руками, обрывал, что есть вокруг, и размазывал по лицу Аксена, заталкивал в рот и ноздри. Нос набился пряным плесневелым мшистым запахом, а земля на языке была кислой и странно вкусной. Аксен перестал поддерживать Пашку, тот явно не справлялся. Аксен понял, что Пашка, несмотря на всю свою гнусную

мрачную природу, не был идеальным устройством.

– Угу... угу, – будто успокаивая Пашку, прохрипел Аксен, и его рука легко нашла нож на ремне временно живого.

Уходила из Пашки жизнь смрадно, пахла водкой и дерьмом. Аксен лежал под парнем, не находя в себе сил высвободиться из-под расслабившегося, отяжелевшего тела. Из дырки в Пашке согревающе расплывалась по животу Аксена кровная жидкость. Аксен с трудом отвалил Пашку в сторону, чтобы посмотреть тот в последний раз на небо, а затем прикрыл смягчившееся, задумчивые, со злом распрощавшиеся глаза. Аксен, прихватив парня за шиворот, потащил за собой в сторону несчастья. Под горкой валялся безголовый староста. Шиворот был и у того. Аксен, с руками на вытяжку за спиной, тяжело тащил родственников за собой по неудобному лесу.

Если и есть у человека затаенные припасы сил и упорства, то Аксен понимал, что сегодня исчерпает свои досуха. Мышечная работа дается легче, если головой отмереть. Аксен старался не думать ни о чем и только осуществлять неизбежное с помощью коченеющих мышц и сухожилий. В жестком окаменевшем холодном лесу не слышно было ни звука. Только хриплое натужное дыхание Аксена вперемешку с шелестом и треском преодолеваемого на пути. С первыми сумерками Аксен выпростался на узкий каменный берег того, второго, озера, что было связано рекой с деревенским. Рекой, русло которого доставляло больше неживое в тутош-

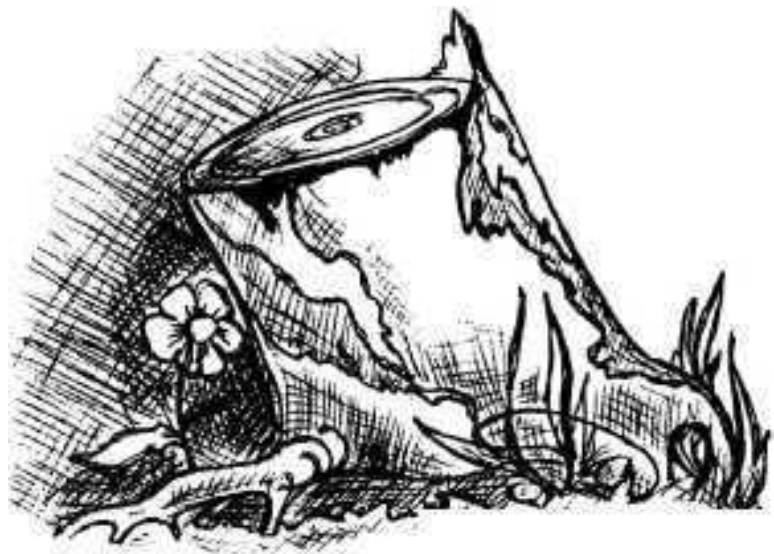
нее упокоище. Аксен никогда не ходил сюда. Если случалось приближаться по промыслу лесному, то, только завидев про-свет средь деревьев, отворачивал стопы. Ламба была небольшо-шой и удивительно правильной прямоугольной формы. Чер-ная вода в ней приподнималась и опадала, словно черный зи-пун от дыхания неведомой грудины. Мучимый жаждой, Ак-сен потянулся к воде, но, набрав густую маслянистую горсть, отряхнул ее обратно и обтер руку о штанину. Пашка и безго-ловый староста за спиной Аксена будто притомленно отды-хали, удобно прислонившись друг к другу. Аксен посымал с них ремни и приспособил под камни. С Пашкой вышло легко. Длинная шея с жесткой щетиной на запавшем кадыке была будто заранее приспособлена под петлю. С отцом его пришлось изрядно намучиться. Верхняя часть черепа была снесена напрочь, а свороченный набок подбородок выгля-дел ненадежно. Не удержит петлю. Аксен подвязал под гру-диной, через ключицу. Поискав на берегу жердь, Аксен оку-нул ее и так и не дотянулся до дна, словно его и вовсе не было. Предпоследними силами поочередно подволок к краю бережному тела и оттолкнул от себя. Озеро их проглотило с шепотливым всплеском без брызг. Аксена отвернуло в сто-рону и стошнило безводной желчью. Желудок при этом слов-но поджало и уперло в подребье.

Сумерки за спиной, казалось, спускались не с неба, а ис-ходили из холодного черного нутра озерного. Аксен, под-жавшись, сузив бока заочечеными руками, пошел прочь.

Не было в нем ничего теплого внутри. Мясо каменное, а кровь густая, с острецей прихватившихся льдинок. Вдоль реки он вышел к деревенскому пляжу. От воды отразились женские вопли. Аксен припомнил Пашкины слова: «Моя женка по осени разродиться должна». В голосе женщины была не только родовая боль, но и зарождающаяся, пока еще не освоившаяся и неуверенная тоска.

Снег выпал разом и больше не уходил. Жаркое лето и затянувшаяся осень выпестовали его, раздражили. Аксен ждал снег, принюхивался к воздуху. Только тем и занимался. В деревню совсем не хаживал. Мастерскую тоже забросил, подперев кособокую дверь ломом. Пока снегопадало, то и вовсе не спал, уверяя себя, что снежит обильно и бессрочно. Исхудалый, пробавляющийся на грибном и ягодном пайке, Аксен потерял в росте, облез головой, ссутулился. Стал рассеян и отстранен, будто отъезжающий на вокзале – мыслями совсем уже не здесь. Несколько дней поглядывал за окошко в холодной, не протопленной избе, и когда лес утвердился белой, без зазоров, стеной, Аксен вышел за порог. Вышел налегке, о тепле не заботясь. Протиснувшись в лес, утопая в сугробах по пояс, радовался каждому сложному шагу. И чем выше и жирней становились ели, тем больше ликовал внутренне. Наконец добрал до своей, еще с осени высмотренной великанши. Ель была многовековой, может, на последних годах доживания. Такие обычно растут до тех пор, пока не на-

ходят смерть в ураганном сокрушающем ветре. Раздвинув снег и дотянувшись до облезлой грубой шкуры дерева, Аксен поглаживал ее и укреплялся в мысли, что оно – идеальное устройство. Он основательно вытоптал в сугробах траншею на подходе к стволу и несколько раз прошедши по ней туда-сюда, кивнул удовлетворенно. Издалека стали доноситься звуки просыпающейся деревни. В прозрачном морозном воздухе они были отчетливы и звонки. Аксен воспринимал их уже не как человек, а как зверь, изумленно и опасливо наостривший уши в лесной чаще. Отойдя от ели до пределов траншеи, он распрямился, приосанился и что есть силы разбежался, пока не врезался телом в дерево. Над головой ухнуло, и белое шлепало смяло его и погребло. Отряхнувшаяся ель облегченно распрямилась. Сколько-то еще простоит...



Джерри (Александра Власюк)
Украина, г. Киев



Член Международного союза писателей «Новый Сове-

менник». Победитель конкурса Литсовета «Мастер» 2018 г. Лауреат конкурсов Литсовета 2017-18 гг. Финалист конкурса «Мимо серии» 2018 г. изд-ва «Параллель». Публиковалась в изданиях МСП «Новый Современник» – «Чаша талантов», «Похождения красного Кота», «Что хочет автор», «Великолепная десятка»; сборниках «Алгебра слова», «Порог-АК» и онлайн-изданиях. Была в составе жюри Международного конкурса имени Франца Кафки в 2019 г.

Из интервью с автором:

Партнер в агентстве интернет-маркетинга, руководитель направления SEO-оптимизации и продвижения сайтов. Переводчик трех языков. Журналист (публикуется с 1999 г.), литредактор-корректор, аналитик, участник волонтерских объединений. Участник творческого объединения по адаптации кинопродукции на украинский язык.

© Власюк А., 2019

Жертва

Первой была Кошка.

Ваня придумал ее. Потому что живую мама ни за что бы не разрешила.

Кошка была говорящая, с огромным пушистым хвостом. На одном боку у нее шерсть была голубая, а на другом яр-

ко-малиновая, а еще крупные оранжевые пятна – очень красиво. Ее звали Кошкой Муркой.

– Мррр, – затарахтела Мурка, как только Ваня выдумал ее. – А что мы будем делать?

– Играть, – тут же предложил Ваня.

Кошка вежливо отказалась играть вдвоем и ушла грустить на подоконнике. Ваня чуть поднатужился и придумал говорящего умного Робота Трансформера и Осьминога Роберта, который работал в полиции.

– Давайте пойдем в опасный поход в джунгли! – предложил Робот. Ему не терпелось проверить, как хорошо он умеет превращаться в пушку и стрелять по воробьям.

– Почему сразу по воробьям? – возмутилась стайка почтенных бородатых воробьев, придуманных тут же по случаю.

– Мы не будем стрелять по воробьям, – решил мальчик. – Мы пойдем на край света и устроим там пикник.

– Что за пикник? – насторожилась Мурка.

– Настоящий пикник, – вдохновился Ваня. – У нас будут бутерброды с ветчиной и сыром, а еще огурчики и яблочный пирог. И никаких муравьев!

– Да, я муравьев тоже не ем, – поморщилась Мурка. – Но зачем нам идти на край света, чтобы пообедать? Почему мы не можем покушать прямо *тут*?

– Потому что я так сказал! – Ване понравилось, как это прозвучало. – Аппетит надо нагулять, моя бабушка всегда

так говорит. Пойдем на край света опасным походом через пустыню. Там ночью будет страшно холодно, а днем ужасно жарко и совсем не будет воды. И нас будут преследовать разбойники.

– Зачем разбойники? – Мурка лениво почесала ухо.

– Потому что в пустынях всегда водятся разбойники. Они охотятся за золотом путников и нападают на караваны торговцев! – Ваня гордился своими знаниями про пустыню.

– Разбойники – это замечательно, – обрадовался Осьминог-Полицейский Роберт. – Я их всех арестую. Пожалуйста, мальчик, придумай мне полицейскую машину, чтобы я отвез злодеев в тюрьму!

– Машины не ездят в пустыне, глупый ты осьминог! В пустыне только верблюды и ходят, – вздохнул Ваня и придумал Верблюда-Невидимку. Мальчик не мог точно вспомнить, сколько у верблюда ног и есть ли у него копыта, но не хотел выдать себя перед новыми воображаемыми друзьями.

В пустыне оказалось действительно очень жарко и все время хотелось пить, но Ваня не ныл, потому что был старшим. К тому же, прямо по следам друзей, неуклюже оттаптывая им пятки, крались разбойники в тюрбанах. Они грозили кривыми кинжалами, скалили желтые зубы, а когда Ваня поворачивался к ним спиной, сразу начинали перешептываться, планируя дерзкое ограбление.

– А ну, тихо мне там! – прикрикивал на них Ваня, грозя кулаком, и тогда разбойники смущенно смолкали, пока

мальчик снова не отвлекался от них. По ночам друзья ложились спать прямо на песок, оставляя за главную Сову Маргариту. Она озиралась налево-направо, освещая окрестности зеленоватыми лучами из глаз. Разбойники побаивались совы с ее жутким взглядом, обзывали шайтан-птицей и тоже укладывались спать, шепотом переругивались за песчаными барханами неподалеку.

Через пару дней пустыня вдруг закончилась. По голубому ручейку, который отрезал пустыню от леса, приплыла Рыба Уля.

– Впереди джунгли, и в них много сладких фруктов, – предупредила она, – но и змей тоже много, не ешьте их, а то отравитесь – они ядовитые. А еще там водятся тигры.

– Тигры – это ведь почти кошки, – обрадовалась Мурка, но остальные почему-то были не в восторге.

– Стойте! – Из лесу вышел бобер. Он был очень старым. В лапе он сжимал длинный жезл, а его седая борода мела тропинку и тянулась за ним следом. – Я – друид и шаман. Без меня вы не сможете пройти этот лес!

– Почему? – заволновались все.

– Вас боги местности не пропустят, – авторитетно заявил Бобер Шаман. – А со мной пропустят, они меня любят.

– Сам придумал богов? – спросил Ваня с уважением.

– Нет, они сами как-то придумались, до меня, – Бобер сконфуженно почесал нос жезлом, на миг растеряв величие. – Идемте же, путники, – спохватившись, стал басить

он, — я проведу вас тропами, о которых лишь зверям известно!

— Вообще-то мы сами себе звери, — фыркнула Кошка Мурка и в пару прыжков добралась до развилки, где тропинка сворачивала в густой лес. — Как-то уж мы с лесными тропками справимся, понятно?

— Никакого уважения к служителю культа, — грустно покачал головой Бобер, глядя, как за Муркой потянулась длинная вереница воображаемых зверей. Он повздыхал и поплелся за процессией. В самом хвосте топал свежепридуманный пес-защитник Бобик.

Шли весь день. К вечеру выбрались на берег реки, где песок еще хранил дневное тепло. Там и заночевали вповалку. Наутро продрали глаза, с аппетитом слупили все, что принесли им к завтраку лесные белки, и снова отправились в путь. Ване в лесу нравилось больше, чем в пустыне: не так жарко, к тому же по пути встречались кустики с малиной, шоколадными батончиками и чипсовые деревья.

Не в восторге был только Верблюд Невидимка: сухая трава застревала у него в копытах. Он постоянно отставал от других и ныл.

— Нам еще долго? Я так натер ногу, — хныкал Верблюд, — я не могу идти, пусть меня кто-то на ручки возьмет!

— Цыц! — раздраженно прикрикивал Ваня. — Видишь: все идут, никто не ноет! И ты иди вперед!

— Иду, иду, — покорно вздохнул Верблюд, и, судя по зву-

кам, в этот момент с ресниц его скатились две крупные слезы. Хотя этого никому не было видно, но Ване было Верблюда очень жаль, и он чувствовал себя бесконечно злым мальчиком, который сперва придумал себе зверя, а потом заставил его мучиться.

– Когда мы доберемся до края света, – пообещал Ваня воображаемым зверям, – у нас будет бутербродов с ветчиной – завались! И четыре... нет, пять бутылок лимонада. И пирог с яблоками и корицей!

– А со смородиной пирожки будут? – спросил кто-то из зверей, и тут началось форменное светопреставление:

– А с рисом, яйцом и луком?

– А беяши?

– Желейки будут?

– А можно мне сосиску в тесте?

– Дайте мне банку зеленого горошку! И дольку арбуза! – потребовала Рыба Уля, смешно топая плавниками.

– Я хочу круассан с шоколадом! – стал голосить Ворон в задних рядах. Поднялся такой шум и гам, что все прекратили идти и вопили. То там, то сям вспыхивали потасовки.

– А ну тихо! – Ваня злился на себя за то, что поднял такую сложную для зверей тему. Теперь продолжать путь было тяжело, путешественники были расстроены, а некоторые еще и клацали зубами друг на друга, угрожая расправой.

– А мы скоро дойдем? – снова начал тихонько хныкать Верблюд-Невидимка. – Я так натер ногу, так натер, что пря-

мо ходить не могу!

– Прекрати ныть! – Ваня пустился ругать Верблюда. – Смотри: все идут и не ноют – и ты иди!

Верблюд шмыгнул невидимым носом.

– Давайте сопливого зануду в жертву богам принесем, а? – шел и ворчал Шаман Бобер. – И им приятно, и нам веселей идти.

Верблюд испугался и затих.

К вечеру вся компания дошла до обрыва. Он был ужасно глубокий: в него крикнули «ау!», но оно вернулось аж через полчаса и пожало плечами.

– Придется идти в обход, – решил Ваня. – Мы обойдем по краю обрыва вооон туда, а там можно перескочить на другую сторону, там совсем чуточку.

Мальчик уверенно зашагал вперед. Запыленные воображаемые звери с безразличием поплелись за ним. Они уже дошли до узкого перешейка между двумя сторонами ущелья, когда обнаружили, что та, другая сторона расположена выше, чем казалось – так просто не перепрыгнуть.

– Давайте те, кто умеет летать, поможет перебраться остальным, – предложил Ваня. – Я, например, взрослый. Я перепрыгну. А вот Рыба не сможет, наверное.

Стайка бородатых воробьев молча развернулась и улетела в полном составе.

– Гляньте, что это? – Бобик заглядывал в ущелье, в котором стремительно поднималось вверх, будто кипящее моло-

ко, что-то красное. Становилось очень жарко.

– Отойди, – еле успел оттащить его Ваня, когда из ущелья на край обрыв ляпнула ярко-красная лава, спалив дотла сухую траву.

– Ну и как нам отсюда выбраться? – захныкал Осьминог-Полицейский Роберт. – Мы все погибнем!

– Ежу ведь понятно, – отозвался Шаман Бобер и цокнул зубом. – Боги велят принести кого-то в жертву. Или мы кого-то швырнем в лаву, или она выйдет из берегов!

Воображаемые зверята и ребята разом загалдели, стали махать руками и пищать, а кто-то с отчаянием завыл.

– Тихо вы! – прикрикнул Ваня и нахмурился. – Это я вас всех придумал, я и выберу, кого принести в жертву!

– Принеси Бобика, – шепнула Кошка Мурка. – Он грязный и громкий, он нам не нужен.

– Ну уж нет, я охраняю вас, – возмутился Бобик. – Я стреляю лазерами из глаз по врагам и лаю так, что у них мозги из ушей вытекают. Лучше принеси в жертву Бобра! Зачем нам Шаман, если у нас есть лазеры?

– Уж я до тебя доберусь, – Шаман Бобер погрозил Бобику посохом и обернулся к Ване. – Боги накажут, если пожертвуешь шаманом. Лучше принеси в жертву голубоглазую блондинку-девственницу, богам понравится.

– А что такое «девственница»? – громким шепотом спросил Ваня у Робота, который стоял рядом. Тот пожал металлическими плечами. Ваня вздохнул – зря он придумал столь-

ко воображаемых друзей, которые умнее его самого.

– Ну, Рыбу Улю принеси в жертву, – кисло предложил Шаман Бобер. – Она же плавает в воде. И в лаве как-то выплывет. Быстренько поплывет, глядишь, и не зажарится сильно.

– Ой да ладно! – Рыба Уля метнула в Бобра ядовитый плевок, но тот вовремя отскочил. – А кто будет травить вражеских подводников, а? У вас что, много рыб, плюющих ядом, есть?

– Нет, ты у нас одна, – вздохнул Ваня. – Давайте Кошку Мурку принесу в жертву. Она у нас самая обычная. Никаких у нее особых талантов нет.

– Меня, мрррррр, мрррррр? – Кошка будто случайно стала ластиться к Ване, и мальчик тут же обмяк. Ведь у родителей не допросишься завести даже самую маленькую кошечку. Мама разрешает только воображаемую.

– А давайте Робота отдадим богам, а? – с надеждой предложил Ваня. – Вытащим из него материнскую плату, а все остальное бросим в лаву, а потом заново всего Робота соберем, и он будто и не умирал вовсе, а?

– Нет, нельзя, я очень сложный и ты не сможешь меня собрать заново, – отрезал Робот. – Даже с инструкцией. Даже если позвать папу.

– Сову Маргариту? – продолжил Ваня.

– Дожили! – ухнула Сова. – А кто ночью будет в темноте разбойников высматривать, пока вы все дрыхнете? К тому же у меня прекрасный музыкальный вкус и лучшая коллек-

ция джаза.

– А я провиантом снабжаю, – выступила Белка.

– А я маскируюсь под окружающую среду, – заметил Верблюдо Невидимка.

– А я...

– А мы...

Вся толпа галдела, ухала, махала руками, лапами, хвостами и ушами, а лава тем временем молча поднималась вверх, стремясь сравняться с обрывом.

– А ты, Ванюшшшшшша, – громко мурлыкнула Кошка Мурка, – сам-то хорош гусь! Ты придумал эту лаву, да? Ты придумал нас и теперь хочешь убить? То есть ссссам придумал, ссссам каш-шшшшу заварил, а мы настоящие, живые – страдай, мрррмяу?

– Кошка дело говорит! – подхватил Воздушный Змей Питон. – Долой мелкого тирана!

– Уууууубьем диктатора! – взвыл Неволк.

– За ноги за руки хватай малого – и ага! – предложил кто-то.

– Да вы что? – Ваня не столько испугался, сколько удивился и сделал шаг назад. – Что я вам сделал плохого?

– Нельзя придумать себе друга, чтобы потом убить его! – Тигр Борька шел прямо на мальчика, и в желтых глазах зверя плясала лихая злость.

– Верно, – подхватил Ворон. – Ты первый начал, ты нас придумал. А мы тебя об этом не просили!

– Я из-за тебя таааак ногу натер! – зарыдал в голос Верблюдо. – А ты меня ругал и пирожка я так и не получил!

– Пирожок на пикнике будет, – в отчаянии выкрикнул Ваня. Прямо на него с тихой яростью двигались его воображаемые друзья. Небольшие шаги сотен лап, копыт, ног гулко отзывались в земле.

– Вали гада! – крикнул кто-то из задних рядов, и Ваня, испугавшись, попятился. Тапочек заскользил по сухой земле, нога поехала, и мальчик, не удержавшись, сорвался вниз, навстречу кипящей красной лаве. Та быстро поглотила его.

– Бульк, – не смог промолчать Попугай Кеша. Он был туповатой птицей. Долины и горы снова сжались до размеров детской комнаты.

– Ну-с, а теперь, – Кошка Мурка в несколько прыжков добралась до двери детской комнаты и распахнула ее настежь, – мы свободны.

Звери злорадно переглянулись.

Первой вышла Кошка.

Дискриминация

В этот раз я решила не переплачивать за приоритетную посадку в самолете и поэтому, когда пробралась к своему месту, увидела на сиденье рядом сумку. Дорогую кожаную сумку с высокими ручками. В аккурат такую, чтобы сложить самые нужные вещи и рвануть на выходные в какую-то при-

ятную европейскую столицу с вечерними ярко освещенными верандами и высокими шпилями готических соборов. Симпатичная сумка, словом. Но почему она на сиденье?

– Могли бы и на полку положить, – машинально подумала я, пролезая к окну. Знаете, бывают мелочи, которые внезапно страшно раздражают. Хотя я вполне допускаю, что просто не выпалась и из-за этого не в духе. Села. Стащила с себя кофту, выворачиваясь, будто в меня вселился цирковой акробат. Пристегнулась. Достала книжку – люблю бумажные. Покосилась снова на сумку – та, конечно, молчала с самым невинным видом, не выдавая ни себя, ни своего хозяина.

– Ладно, – решила я про себя. – А вдруг хозяин – какой-то молодой красавчик-миллионер, притом преступно неженатый? Многообещающий полет.

Но вот уже задраены все люки, и стюардесса с невозмутимым лицом инструктирует пассажиров, а хозяина сумки все нет. Мы уже взлетели – а хозяин так и не пришел.

– Девушка, – подозвала я стюардессу. – Тут какая-то подозрительная сумка. Может, ее террористы подбросили?

– Все в порядке, – улыбнулась та. – Билет пассажира отвечает занятому месту.

– Да ладно, – удивилась я. – Разве сумка может лететь без хозяина? Разве ее не надо сдавать в багаж или пересылать как-то по-другому?

– Милочка, – закрипел противный голос рядом. – А вы почему одна и без сопровождающего мужчины летите?

Я стала вертеть головой, стараясь определить источник звука. Стюардесса скосила глаза на сумку.

– Я вас спрашиваю, дорогуша, почему молодая девушка позволяет себе лететь без мужчины рядом? С каких это пор женщинам такое разрешено? В свое время так поступали лишь профурсетки, – скрипучий голос действительно принадлежал сумке.

– Извините, это вы? – на всякий случай осторожно переспросила я.

– Еще и как я! – продолжала возмущаться сумка. – Почему если ты – сумка, то с тобой даже никто всерьез разговаривать не будет? Тебя все норовят сдать в багаж и возмущаются, что ты без хозяина. Вопиющая дискриминация!

– Мы просто привыкли к тому, что сумки обычно чьи-то, – примирительно сказала я.

– Нелепая вещистская культура, – надулась сумка. – А я, может, уже на пенсии и решил посмотреть наконец на Эйфелеву башню.

– Я же не против, – оправдывалась я. – Просто для меня это очень необычно...

– Еще бы, – бухтела сумка. – Вы привыкли набивать нас чем попало, ставить на грязный пол, царапать или – что еще хуже – приземлять на нас свои ягодицы. Сумка – и без хозяина. Быть такого не может! Верно? А что, если я Шопенгауэра и Ницше всего читал, а? Кого из вас вообще заботит, что за кожаной отделкой у нас скрывается богатый внутренний

мир?

Я еле успела отвернуться к окошку, чтобы не прыснуть со смеху и тем самым не задеть чувства старой кошелки.

– И, если вас это интересует, – продолжал сумка, – я 30 лет служил у одного профессора медицины. И уж поверьте. образование мое – почище вашего будет! Разве я не могу на старости лет, когда мой... хм-хм... патрон меня выбро... хм-хм... дал мне небольшой отпуск... разве не могу я съездить за границу и побывать в местах, о которых столько написано и прочитано?

– Я не сомневаюсь ни в вашем образовании, ни в ваши заслугах, – я старалась быть очень вежливой. – Просто мне не до конца понятно, как вы самостоятельно сюда добрались.

– Ну милочка, не все такие узколобые, как вы, – покровительственным тоном закрипела сумка. – Мир не без добрых людей. И не без подставок с колесиками.

– А в салон самолета как вы прошли? – любопытствовала я.

– После досмотра на паспортном контроле я потребовал, чтобы меня сопровождал сотрудник аэропорта, – объяснила сумка. – Я обещал подать на них в суд, если они приклеят ко мне хоть одну свою яркую наклейку! Эти остолопы меня трижды чуть не отправили в багаж. К запыленным пролетариям, – добавил с брезгливостью.

– Так у вас тоже есть классовая принадлежность? – изумилась я.

– «Тоже»??? – вспыхнул мой собеседник.

– Простите, – я благоразумно решила замолчать и уставилась в окошко. За ним проплывали величественные замки из облаков. Мой сосед немного побряхтел, побурчал что-то в адрес моей сообразительности и спустя время заскучал.

– Милочка, а не будете ли вы столь любезны взять меня на колени, чтобы я мог лично лицезреть пейзаж за окном? – снова заговорил сумка. – Я, знаете ли, обычно летал в пространстве без окон и не мог видеть такую красоту. А с моего места решительно ничего не видно.

Желая выслужиться и тем самым исправить мнение сумки о роде человеческом, я схватила соседа и усадила себе на колени. Внутренне замерла: интересно, ЧЕМ сумки смотрят?

Сперва сумка смирно сидел на коленях, но затем стал чуть ерзать.

– А у вас симпатичные коленки, – заметил сумка. – Только бедра чуть полноваты, как по мне.

– Ах ты дрянь! – воскликнула я, отшвырнув старого охальника на соседнее место. – Как тебе не стыдно?

– Ай, брось эту мнимую стыдливость, – мне показалось, что сумка скорчил брезгливую рожу. – Все вы женщины одинаковы. Только и думаете, что об удачном замужестве.

– Чтоб тебя, – надулась я. – Ручки протерлись, а туда же! Серьезную персону из себя корчит! Сексист старый!

– Вещистка! – громко возмутился сумка.

Дальше летели молча.

– Послушай, деточка, – примирительно заговорил он, когда мы пошли на посадку. – Взлет я пропустил, беседуя с тобой. Не обессудь, помоги старику – возьми меня на ручки, чтобы я увидел, как мы будем приземляться. Мне страсть как интересно!

– Сиди где сидишь, казанова из кождама! – Я мстительная.

– Ах ты стерва, – вздохнул сумка. – Ну ничего, будешь вылезать после посадки – знай, с моего места отлично видны твои ослепительные ляжки под юбкой.

– Девушка, – позвала я стюардессу. – А можно вас попросить спрятать эту сумку на верхнюю полку?

– Сожалею, но у этого пассажира есть билет и мы не можем отправить его к багажу, – вздохнула стюардесса. – Засудит, сами знаете – в вопросах дискриминации суды бывают непредсказуемы. Нас уже в прошлом месяце засудила одна сумка на колесиках, не хочется повторений.

– Он ко мне приставал! И за коленки меня хватал! – выложила козырь я.

– Мерзавец, – ахнула стюардесса и не без брезгливости взглянула на старого распутника. – А на вид такая приличная кожаная сумка! Стыдитесь, изделие!

И, невзирая на протесты моего кожаного соседа, его подхватили за ручки и изолировали в туалете – до прибытия в аэропорт, где им должны были заняться правоохранители. Я напоследок показала сумке язык.

Потому что сумкам место в багажном отделе! Sic!

Владимир Черноморский
США, г. Нью-Йорк



Известный русскоязычный журналист Северной Америки, был главным редактором «Вечернего Нью-Йорка», издателем ежедневной газеты «Репортер», работал в «Новом русском слове».

Из интервью с автором:

По образованию – инженер-строитель. В этом качестве и с лейтенантскими погонами 2,5 года жил и работал за Полярным кругом и на островах Северного Ледовитого океана. Расставились с профессией, работал корр. ТАСС, заведовал отделами в журнале «Экономика и Жизнь» и газете «Правда Востока». Опубликовал всего одну поэтическую книжку «Фотосинтез» в 80-м году и то – только победив в конкурсе.

© Черноморский В., 2019

Осеннее утро в Манхэттене...

Осеннее утро в Манхэттене...

Шрапнель воробьев – и повержены листья.

И рдеют их раны – безжалостна осень!

Кого утешала сегодня Калипсо?

Умелая шлюха, а нимфа – не очень.

Таких сколько хочешь на острове этом.

А все же хватает для них Одиссеев:
неприбран к утру, саблезубый Манхэттен
бродягами, как и листвою, усеян.
По деснам его авеню чуть попозже
и щетки пройдут, и вода под напором.
И некий бродяга, никем не опознан,
вдруг станет John Doe, коли сдох под забором.
Тот «путник в ночи» был не факт что бездомным;
мог выйти из МЕТа, где слушал Нетребко,
принять пару «дринков» и, бесом ведомый,
податься к Калипсо своей непотребной.
Мог выйти из банка, где брокером служит,
опять же бухнуть, но уже по-большому,
с инсультом улечься в осеннюю лужу...
А кто там еще to continue show?
Возможен студентик какой NYUшный.
Прознал про Калипсу из ближнего Сохо,
но там ему встретился pimp ее ушлый
и вытащил кольт – а студент и не охнул.
Банкиры, студенты, юристы, туристы...
Whoe else? Anyone! – Здесь сплошные бродяги.
Их тянет на волю, и суть не в Калипсо —
им лишь бы уйти от постылой бодяги.
От въевшейся в кожу команды: Establish! —
Себя ли, семью ли, аккаунт ли, бизнес...
А можно ли – нежность? Ее вот хотел лишь...
It can't be established: сердце разбили.
Я встретил рассвет, заливаячи zenки,
устав от желаний и скорбных историй.

Вон – вынырнул working народ из подземки;
он снова утопит себя – в мониторах.
Народ забывает, когда рассветает,
ночные маршруты, сюжеты, страстишки...
Establish!..
И только шрапнельною стаей
взлетят в никуда Джоны До – воробышки.

Эндшпиль

Ход белых, ход черных...
И скоро цейтнот,
и скоро расплата
за жертвы вслепую.
А я не боюсь. Но все больше тоскую
о пешках, стоявших в дебюте стеной.

A2 – доброта,
B2 – это нежность,
C2 – звал любовью,
упорством – D2...
По черной земле и по белому снегу
я их отправлял в наступление – «Ать-два!»

E2 – это честь,
F2 – это гордость,
G2 – это сила,

надежда – Н2...

Не все растерял, но без каждой мне горько,
без каждой пусты и дела, и слова.

Сшибают слоны,
подавляют их кони,
ладьи – курс на Запад,
там цель и мечта.

А то, что эскорт в океане потонет...
Да кто о нем вспомнит, кому он чета?

Ах, пешки – народ мой
простой, немудреный...
Меняем, чтоб выжить,
друзей на врагов.
Сейчас будет «мат». Я стою оголенный
на черной земле среди белых снегов.

Зацепиться

Зацепиться за кончик месяца. Разумеется – не небесного.
Для того нужно быть либо дьяволом,
либо глупым мультяшным приматом.
Зацепиться за 31-е мне родимого месяца Марта,
потому как остаться вне времени
и пространства случится мне без того.

Зацепиться за кончик улыбки. Да, такой благосклонной
и терпкой,

что захочется плакать немедленно вместе с белым
счастливым облаком.

И прощай, тишина бессердечия... А вражда мне давно
уже побоку.

В общем, на краешочек любви вновь приводит судьбы
моей шерпа.

Зацепиться за кончик печали, мне в наследство друзьями
завещанной.

Он ведь выдержит груз моей совести? Мне, наверное,
хватит падений.

Я хочу сохранить вертикальность, пусть повиснув,
считай, что по делу.

Но почувствуйте все-таки разницу: не повешенным быть,
а подвешенным...

Зацепиться за взгляды прохожих... за листок из
распахнутой почки...

паутинку по ветру летящую и... за мысль, что летит вслед
за нею...

От которой я ловко прятался, ныне каюсь в том и леденею
до сцепленного с мыслью звена моей ДНК цепочки.

Я люблю скрипачей

Но с футлярами люди
длиннорукие бродят по городу.
Чуть шершавят асфальт,
чуть полощут прически свои,
высоко по-верблюжьи
проносят глазастые головы,
и в глазах и в футлярах
что-то нужное мне затаив.

Я люблю скрипачей,
этих очень естественных снобов,
за магичность футляров
в ладонях с путями фаланг,
за рассеянный взгляд,
доводящий меня до озноба,
ощущенья школярства,
постигшего слово «талант».

Я устал от гитар,
мне кивают всегда пианисты,
не смутят меня монстры —
контрабас и фагот, и гобой...
Ну а эти, ужель
в каждом и Мендельсоны и Листы,
или каждый, как Ойстрах,
носит в сердце вселенскую боль?

Я ведь знаю, что есть
и вторые, и пятые скрипки.

есть смычки в кабаках...

А вот встречу и стану не свой.

И мне страшно прочесть
на глазах снисхожденья улыбку
в тот момент, когда в нервах
скрипача проскрипит канифоль.

Не желая поддаться
повелению этого скрипа,
я протиснусь во взгляд,
прогорланю: «А ты кто такой?!»
И тогда из футляра
выйдет грустная девочка – скрипка.
Он забудет меня,
я совсем потеряю покой.

Я люблю скрипачей...

Подражание классикам

Где острота и скорость мысли?
Где дней беспечных виражи?
Все ниже крен у коромысла
с коротеньким названьем: жизнь.
Когда-то в ливень или в вёдро,
всем суеверьям вопреки,
я гордо нес пустые ведра

к воде таинственной реки.
А впрочем – полные: мечтами,
любви и трепетных надежд.
Они потом пустыми стали,
как Именительный падеж.
Под шаг склонялось коромысло:
Родитель, Датель и Творец...
Винитель – как не стало смысла
и есть Предлог сказать: «Рифмец!».
Ах, не скажу! Лишь древко стиснув,
я все-таки продолжу путь
и как-нибудь дойду до Стикса...
Вот были б силы зачерпнуть...

«Ничего мне не надо...»

Ничего мне не надо.
Только б желтый октябрь
и последний кораблик —
улетающий лист.
Пусть играет сонату
Шопена хотя бы
мне сегодня седой,
но плохой пианист.
Мне порой по душе
и фальшивые ноты.
Чтобы слышать, как сам

подпеваю мотив.
Камертоны уже
задрожали в дремоте
и проснулись, каса —
ясь бумаги... И — стих!
Он пошел, словно дождь:
капля к капле — потоком
он понес на себе
столько старой листвы.
И уже не пройдешь,
и уже я под током
всех желаний и бед.
Может, так же и вы?
Может, это всерьез
разливается море
той волной, что еще
не изведаль никто?
Но ударит мороз,
и снежинками вскоре
покрывается стих...
Лишь дрожит камертон.

Попытка инсценировки

Пролог

Все сомнения вольготны,
все истории печальны.
Ветер сдует ворох листьев,
и опять забрежит день.
Гаснет месяц неохотно,
солнце встанет изначально,
и в большом казенном парке
закружится карусель.

Будут медленно вращаться
люди, звери и картины
нашей маленькой эпохи —
несравненного пути.
И успеют попрощаться
(мы, конечно же, простим им)
те, кто знал, что это плохо,
но решил на круг взойти.

Трубы громкие, подвиньтесь:
между вами будет скрипка.
Будет петь печально, тихо,

словно робкий человек.
Будет добрая улыбка,
трубачи, хоть разовитесь:
для высокой песни скрипки
нет преград и нет помех.

Мы не верим, что возможно
заглушить печаль и память.
Все, что создано любовью,
будет жить среди людей.
Все, что выстрадано, — с нами,
вознесенное над ложью,
и над ложью и над правдой
непотребных нам идей.

Диалог

Мастер:

Это ты — долгий день
моего одиночества.
Вместо неба седьмого —
семь подземных моих этажей.
Безнадежность моя.
И холодные волны пророчества
неосознанных мной,
но подспудных моих ворожей.

Маргарита:

О, как пусто вокруг!
Гнев доступней не стал.
Синева – синевой,
облака – облаками?..
Сгусток крови старух!
А холодный нектар
будет падать с тюльпанов
и биться о камень.

Мастер:

Это ты – мое счастье
ушедшего времени.
Стены скорби молчат.
Лишь навязчивый бубен луны.
Безвозвратно погасшее
чудо мое – озарение,
навсегда непонятные
древние вещие сны.

Маргарита:

О, как пусто вокруг!
Боль не стала сильнее,
а стерильная пыль
растворила сознание.
Сердце – огненный плуг,
пахарь сумрачных дней
проторил борозду,

так, что ныне сквозная.

Эпилог

Так неужели тонкий лучик света
заставит тотчас нас увидеть тень?
И неужели серый сгусток тени
поможет тотчас нам увидеть свет?
Ну, как сказать...
В любом осколке зеркала
из разных точек разный виден мир.

Любимая моя

Любимая моя и звонкая моя!
Я каждый день пою тебя как праздник,
и каждый день иду к твоей душе,
вытаскивая ноги из болота,
где вечно хочет видеть нас судьба.
Любимая моя!
Лучами глаз твоих
я ежедневно отмываю сердце.
А мне, ей-богу, есть что отмывать.
Твоей улыбкой вытираю слезы:

нельзя любить, не выплавав себя.

Мне сладко жить
под крышей ног твоих.
Они мое убежище от страха
однажды враз проснуться мертвецом.
Оргá ны рук твоих с регистрами артерий
как слышу я горящими щеками,
грудь твоей торжественность я пью.
И каждый вздох, исторгнутый тобой,
вольется в парус моего восторга.
И я шепчу:
любимая моя!

«А тогда была девочка...»

А тогда была девочка —
синеглазка, кокеточка.
Ну, такая хрусталинка!
Лотерейный билетик...
Все мечтал, все надеялся,
а мелькнула ракетой.
Отчего ж мы устали так,
не постигшие лета?

А потом была женщина —
безусловная, жаркая.

Было губ полнолуние,
осязание взгляда...
Как же мог я не сжечь себя,
разве кто-то бежал, как я,
и искал ново-лучшего
козырного расклада?

И потом были женщины —
не чужие, не жадные,
годы взявшие ласково
и легко, и нелепо.
Словно были завещаны,
от любви и от жалости,
ими: той синеглазкою;
той — сгоревшей до пепла.

Теннисный мяч

Пускай найдет меня «Hawk-Eye»
прищуром поднебесной слежки.
За линией лежу я лежем;
в игру меня не вовлекай.
Я налетался. Видишь? — Лыс...
И ворса нет уже, и форса.
И мне за линией — комфортно:
не нужен верх, не страшен низ.
Но я боюсь душевных струн,

в тебе натянутых столь звонко.
Ведь ты пошлешь меня вразгонку,
пока я сердце не сотру.
Пошлешь-пошлешь... Без лишних слов,
как только новый сет начнется,
как только счастье улыбнется
в игре, где «ноль» зовется «love».

«Я прощаюсь с тобой...»

Я прощаюсь с тобой.
Мы созрели уже для разлуки.
Так же мог и другой
целовать твои плавные руки,
так же мог и другой
плыть за ставнями глаз твоих смеженных...
А была ли любовь?
Может... Как отражение нежности.
Я прощаюсь с тобой.
Ты стареешь, как солнышко за полдень.
Где-то будет отбой —
ищешь теплую горку на Западе.
Обретаешь покой —
чтоб размеренно все, по рассудку.
Я прощаюсь с тобой
месяца, и недели, и сутки.
Боль прощаний моих,

долготление печального гнева.
Сто обид затаив,
я смотрю на вечернее небо.
Нету солнца – ушло,
так и быть – проживу со свечою.
Хитрой мошкою ложь
облетит стороной – горячо ей.

«А мы с тобой построим пропасть...»

А мы с тобой построим пропасть
путем подрыва наших душ.
Ты слышишь: нарастает рокот.
А мысли, чувствуя беду,
уносятся аж в послезавтра,
туда, где нас, возможно, нет,
туда, где могут оказаться
лишь заблудившийся сонет
и отзвук необычной рифмы.
В ней тот же рокот...
Как вулкан,
родивший остров Тенерифе,
благословив: живи пока.
Тот остров Isla del Inferno —
оттуда-де дорога в ад.
И там недешевы таверны,
и вкус вина дороговат.

Мы неминуемо заплатим —
хоть эта лепта нелегка —
за краткий звук в твоей сонате
на рифму моего стиха.

Заполярные времена

Весна

Еще природой не расписан
тоскливой тундры белый лист.
Но солнечных лучей рапиры
в него несчетные впились.
Уже испробовали почерк
семьсот ветров... А лист храним,
пока не проступила почва
фиалками своих чернил.

Лето

Солнце кружится над тундрой.
И раз в год

что землей сокрыто втуне —
прорастет.
Все в природе оживает,
Все в цвету...
А земля уже скрывает
мерзлоту.

Осень

Стаи сытых гусей,
приумножив потомство,
тянут меридиан.
Он гудит, как струна.
И несет Енисей
тяжело и жестоко
ширь воды в океан...
Где замерзнет она.

Зима

Я знаю: появится краешек солнца
в конце января.
Куда средь «полярки» планета несется,
а звезды горят?

Куда, человеке, и ночью, и дённо
привычно творя?
Багровое солнце, как новорожденный,
в конце января.

Линные гуси

Этой белой ночью падал мелкий, болезненный дождь,
Вяло плакал ребенок в соседней долганской яранге.
В тундре линные гуси устроили гневный галдеж.
Это их убивали. Но слишком жестоко и странно.
Не песцы-наглецы – тем достаточно битых яиц.
И не волки-гурманы, в одиночку забредшие с юга.
Это люди крушили бескрылых, беспомощных птиц
черенками лопат, арматурой под пьяную ругань.
Шли шеренгой, давя и гнездовья, и малых птенцов,
били по головам или шеи наотмашь косили...
Сотни диких гусей оставляли своих мертвецов
и – бегом от людей, гогоча от беды и бессилья.
Сотни диких гусей... И мясца в ледниках завались...
Тихо дождь отошел, стал испариной чахлых растений.
И на небе таймырском три холодные солнца зажглись⁴;
настоящее – то, что одарит и светом, и тенью.

Что я вспомнил об этом почти что полвека спустя?

⁴ Полярный эффект трех солнц.

Я на *Hebrew United*⁵ пришел на свидание к маме.
Вижу: линные гуси! Здесь! И дальше они не летят;
видно, сбилась у них векового лёта программа.
Сотни диких гусей бродят серой толпой средь могил.
Здесь и яйца кладут, и птенцов поднимают на крылья.
Беззащитные гуси, но здесь их убить не могли —
от поживы людской они смертью людскою прикрылись.
Не спеша семянят, если едет на них катафалк;
на людскую беду и бессилье глядят равнодушно.
С новой родиной, гуси! И это – свершившийся факт.
Тут спокойно, тепло, да и черви по-своему вкусны.

Мертвое море

Это Мертвое море – четвертинка слезинки Творца.
Остальные три четверти – в разных морях-океанах.
Отчего столь небрежно смахнул Он слезинку с лица,
что так много соль-горечи выпало Обетованной?
Отчего вообще закипела слеза у Него?
Вдруг увидел страдания избранных Им человечков?
Ну – предвидел... Как Храм разрушал легион,
между делом насилуя их, убивая, калеча...
Нет же – раньше: когда уводили в рабы
тыщи тысяч семей, словно скот, кровожадные персы...
Нет же – позже: когда Торквемада забыл,

⁵ Hebrew United Cemetery – кладбище на нью-йоркском Статен-Айленде.

что и он Галахой предназначен для скорбного пепла...
Когда франк и германец, и особенно брат-славянин —
всяк громил и крушил черепа иудейским младенцам.
Эта соль, эта горечь. Народ этот вечно гоним,
и от Мертвого моря куда ж ему бедному деться.
Нет же — позже: когда шесть миллионов людей
были втоптаны в прах, их тела сведены до утиля.
Он — Творец и, конечно же, все углядел.
Ну — предвидел в веках. И... слеза покатилась.
Так ведь мог уберечь — сам себе поумерить печаль.
И тогда на Земле, может быть, все случилось иначе.
Ах, вы бросьте! Он вымыслил так изначально...
Он — Творец, а творцы, как известно, над вымыслом
плачут.

Ублажи меня снегом, Декабрь

Ублажи меня снегом, Декабрь.
Синим снегом меня освежи!
И сугробы пусть лягут лекалом,
по которому чертится жизнь.
Пусть невзгоды пройдут по касательной —
обожгут — и опять в никуда.
Знаю-знаю, что есть обязательно
завиток под названием Беда.
Напой меня светом, Декабрь,
под закуску бесплодных идей,

когда я на мосточке Де Калба⁶
черствой булкой кормлю лебедей.
Вот беспечно плывут Шипсхэдбеем —
нет мороза и снег не упал.
Вопросительно выгнуты шеи,
как... обрывки житейских лекал.

Как злобно ливень лупит снег!

Как злобно ливень лупит снег!
Ведь вроде оба – с поднебесья...
Меж ними там различий нет.
Но что-то в брате ливень бесит.

Что так же бел он и пушист,
хоть оба пали?... Сам собою
стремится ливень заглушить
самосознание изгоя.

А ведь у них круговорот:
водой сольются и – на небо...
Там кто-то, видно, разберет:
кому – в дожди, кто – станет снегом.

⁶ Деревянный мост XIX века, сооруженный через канал к Атлантическому океану Шипсхэдбей в Бруклине и названный в честь героя освободительной войны барона Де Калба.

Возможно ль падать, не ярьсь,
коль время выпадать в осадок?
Не втапывая чистых в грязь
от невезухи, от досады?

О, Каин с Авелем весны!
Живу, влюблен. Но вижу это —
и ощущаю боль цены
за посещение планеты.

Синий ветер печали

Синий ветер печали, он уже не срывает мне крышу.
Он с годами слабел и теперь уважительно тих,
даже нежен, как будто не дует, а благостно дышит,
колыхая дыханием ветви голые нервов моих.

Синий ветер печали, он сошел с моего Синегорья.
Я стремился к вершине, но льдом ее был обожжен.
И не понял тогда: это счастье мое или горе —
от пришедшего сразу уменья не лезть на рожон.

Синий ветер печали от взгляда моей Синеглазки.
Помню, как он темнел, но потом стал едва голубым.
Вот тогда я нашел среди многих законов негласных:
не пытайся любить, если ты навсегда нелюбим.

Синий ветер печали от потери друзей закадычных,
от дележки мечты, как коврижки, заначенной впрок.
Можно сколько угодно о дружбе до гроба талдычить,
только белая скатерть упирается прямо в порог.

Синий ветер печали от рук, мне махавших прощально,
от турбин самолетов, от резвых фривейных машин.
Он взрывался порою порывами брани площадной
тех, кого измерял я на свой бесполезный аршин.

Синий ветер печали от ночи, пришедшей внезапно...
Нет, еще погоди!.. Видишь? Это зари окоем...
Ветер благостно тих, но устойчиво дует на Запад.
И уже не печалься: все это уже не твое.

Дефиле без филе

В моем шкафу под дюжину костюмов —
от лучших фирм и ношены чуть-чуть...
Зависли бесполезно и угрюмо
как возмещение юности причуд.
В моем шкафу под дюжину скелетов.
Обглоданные совестью моей,
все ждут меня, чтоб вместе кануть в Лету,
куда нас отнесет Гиперборей.
Мой шкаф — *walk in*, но я вхожу нечасто.
Зачем, коль не вылажу из джинсы,

коль нет резона совершать причастье
и повторять себе, что сукин сын?
Наверное, им скучно без вниманья?..
Но нет, почти уверен, ночью гроз
один скелет нарядится в «*Armani*»,
другой – в DG, а третий – в «*Hugo Boss*».
Четвертый присмотрел себе «*Cardin*»'а,
На пятом «*Valentino*» – как влитой,
шестой – «*Louis Vuitton*» (увы – подделка),
седьмой – «*Brioni*» с жилкой золотой.
А эти кости предпочтут *Lacoste*...
Ну, хватит!.. Это только гардероб.
Вот в чем меня доставят до погоста? —
Оденутся, найти решение чтоб.
С широкою улыбкой (априори)
они взойдут на подиум грехов.
Девиз их дефиле – «*Memento mori*».
Надеюсь, что до первых петухов...
Надеюсь. Только буду я разбужен
до свето-дрожи квантами души!
А выяснится: я скелетам нужен,
чтобы совсем простой вопрос решить:
во что одеть.
И больше нет вопросов?..
Тогда они пусть скажут: почему
я их хранил – уродливых, безносых.
уже не интересных никому?
Ты сам не знаешь? Все считали умным...

Ты здесь усвоил: *put your self in... shoes*⁷?
И вот скелеты – аж в твоих костюмах...
Я вновь у них прощенья попрошу?
Нет, я их попрошу о снисхожденье.
Мол, вам решать, в чем ждет меня Плутон,
но есть моя последняя надежда,
что это – не фальшак «*Louis Vuitton*».

Прощение

Не надо плавить серебро
или свинец воспоминаний.
На стыке пасмурных ветров
все тот же смерч свистит над нами.
На стыке неба и земли
кольцо надежд – они все те же!..
И те же тени пролегли,
и те же сны нам веки смежат.
Все так. Но сколько нам ни жить,
стирая с памяти патину,
мы видим, словно миражи,
судьбы застывшие картины...
И вновь статический заряд
пронзит насквозь былою болью;

⁷ Американская идиома «*Put your self in my shoes*» означает «Войди в мое положение».

слова былые укорят
и стыд забытый вновь с тобою...
Мы все меняли – сотни раз!
Да только в грезах, а на деле
они застыли без прикрас
и к нам навеки охладели.
Не надо горны раздувать:
душа по счастью – не тигель.
Утихнут горькие слова.
Но лучше, если не утихнут.
В последний раз себя коря,
увидеть можно удивленно
на добром сердце октября
сутулый лист большого клена.

Игорь Чернавин
г. Санкт-Петербург



Родился в Челябинске. Образование высшее.

Из интервью с автором:

1975–1982 гг.: студент физфака ЛГУ с глубоким погружением в литературу (особенно США). Писать начал в 1976 г.

С 1986 г. – кастанедовец и сторонник «пути внутри себя» – к более адекватному взгляду на эту реальность и проживанию действительной природы «я».

© Чернавин И., 2019

Из цикла об ушедшем (1982–1985)

1. Негромкие крики с помойки

Чтобы чуть срезать, я шел по дворам – тихо меж стен, уходящих навверх, глядящих сразу десятками плоских, по вертикали растянутых окон. Я не спешу, так как нет нигде цели, не с чем и незачем спорить. Нет никого – только буднее утро, все, кто работает, они сейчас на работе, а иждивенцы еще не проснулись, как будто тихая радость. Я все иду через арки – одну и другую, желтые стены и темные окна, как я на них, глядят почти что без чувства. Вот в предпоследнем дворе пара кошек, это спокойные кошки: одна сидит, умываясь, рядом другая – лежит, как две колбаски, поджав под

грудь лапки – возле больших серых мусорных баков. В следующем же, как в коробке, вокруг только стены да куча ломаной мебели, досок – все символически пусто, но на какой-то момент показалось, что здесь их множество, кошек, все они воют, дерутся. Что-то не так – это блажь, ведь их есть две, там, в соседнем дворе, и они вовсе не скачут. И даже стало тревожно, в этот момент, словно только прорезался слух, я это понял – мяучит котенок. Я встал, повел головой – звук был хоть резким, но редким и слабым, и раздавался как будто повсюду. Даже пришло подозрение – а не на этот ли звук я и шел, но это странно, зачем бы. Без предположений иду мимо баков и оказался теперь перед брошенным шкафом около двери подъезда и, только лишь повернувшись к нему, понял – да, звук отсюда. Звук был серьезным – истошным, но и притом равнодушным, видно, котенок куда-то забрался, но на шкафу было пусто. Ну неужели он вошел в этот ящик, нет, он прижат стулом, да и из ящика крик будет глуше – что-то опять не сходилось. Я лишь стоял перед шкафом, не зная, крик был то тише, то чаще, и когда пауза делалась слишком большой, я успевал даже думать – хочет орать, пусть орет, но крик опять повторялся, такой спокойно-бездушный. Не может быть, чтобы здесь – на старом стуле лежал разный мусор: тряпки и куски газеты. Один клочок был чуть больше и свернут – видимо, это остатки от рыбы, может быть, чайная ложка. И вся загадка уже прояснилась, но не хотелось такого решения – я хотел думать про ящик, крик был спокойным и

нудным. Мысль не помещалась – там, в той газете, котенок – явно недавно родился. Я было к ней потянулся, только она показалась вдруг страшной – взять – нет, не нужен, еще слепой, вероятно. Я лишь прислушался к крику – да, крик знакомый – еще кто-то дохнет. Все это было нормально, и вдруг не стало протеста, в крике его вовсе не было сразу. И вновь идя по двору, я снова вспомнил тех кошек – их благостность стала понятней. Душа... негромкие крики с помойки. После такой анфилады дворов и их приниженных арок я закурил и помедлил, даже слегка распрямляясь – это последняя арка, и там за нею проспект – из-под округлого зева входит поток почти белого света.

2-. Велосипед или поезд

По берегу озера ползал туман, и домик базы, стоявший на невысоком пригорке, по временам то исчезал, а то очень ясно, с той или другой стороны, коричневою стеной возникал на его бледном фоне. Из-за этой дымки, полдня бродившей вокруг, было пасмурно и тревожно. Он много раз выходил на крыльцо, но и там не находил себе места – только смотрел, как перетекают и путаются над ширию залива рукава облаков, порою дотягиваются до воды, замазав штриховку дождя, рябившего ее поверхность. Ветер порывами налетал с гор и окутывал тело, как кляп, забивал ему горло, в доме было не лучше – вкрадчивые ходики на стене выстукивали

однообразное время; как он, обалдевая от их равнодушного тика, под полом порой скреблись мыши. Напряжение, которое во дворе уносил с собой ветер, здесь ощущалось тем более сильно. Разум завел его в глупость, и нужно выбраться, как из колодца. Даже безвыходность тоже имеет свой выход, но на другом горизонте.

Когда он наконец понял, что делать, и, чертыхаясь, что тот застревает в двери, вывел велосипед на крыльцо, уже чуть стемнело. Подмешанная к серости предвечерняя полутьма сделала ее чище. Он присел на деревянных ступенях завязывать кеды – велосипед, как убитый, лежал перед ним, резко выделяясь на размокшей траве – синевой своих трубок и блеском ободьев. Только желтые шары полузавявших высоких цветов у стены имели такую же яркость окраски. Пошел слабый дождь. Домик базы, по мере того как на подпрыгивающем велосипеде он спускался с холма, отодвигался все дальше, теряясь на фоне леса, делался меньше, бледнее.

Шрам раскисшей дороги шел возле берега, вскоре входил в густой желтый лес, но близость воды ощущалась и там – по свежести воздуха и по неясному шуму.

Неотвратимая чистая осень, сентябрь. Ему навстречу ветер гнал крупный дождь, воздух будто бы загустел – был переполнен дождем, тихим шорохом капель – в траве, в облетевших и не в успевших еще упасть листьях. Он вымок, но не замечал холода и одежды, липнущей к телу. Велосипед прыгал в руках, норовил повернуть, он то и дело вставал на

педали, хоть и понял уже, что бесполезно – колеса крутились впустую, скользили. Кое-где на дороге были узкие островки невысокой травы, там он еще продвигался, но стоило лишь колесу соскочить в колею, как он неминуемо падал. В таких случаях не помогала и злость, скользя по размоченной почве, не слезая с него, он вытягивал велосипед из канав, только лишь для того, чтоб проехать еще метров двадцать. Мутные из-за грязи ручьи текли навстречу по колеям, давно насквозь вымокли кеды, стертые подошвы их были измазаны глиной и не желали стоять на педалях. Снова и снова он рвал и тянул под собой это изобретенье. Он уже понял, что едет без всякого смысла. Весь лес, деревья, стоящие возле дороги, тоже знали об этом и, если и не могли отступить, то уж сделали все, чтобы отгородиться ветвями и черными из-за влаги стволами. Что это было – ясени или клены, он даже не знал, но их желтые листья были как лапы чудовищ. В основном лес уже облетел и эти павшие под дождем очень большие салфетки покрыли всю землю, невзирая на дождь, осветили ее так далеко, как то ему было видно. Те листья, что не успели опсть, в свою очередь наполняли и воздух их рыжим свеченьем. Нереальность всей этой картины почти притупила его ощущения. Несмотря на то, что он проехал уже полпути, новые повороты дороги, замутненные серым дождем, все еще удивляли его – это словно тупик, а то – узкая щель и за ней сквозь туман вроде даже видна перспектива. Дождь же все падал ему на лицо, и капли, повисшие на ресницах,

тоже меняли изображение. Уже давно штаны, бок и руки были измазаны грязью, и вот опять занесло колесо, он упал, сел в траву и наконец замер – глядя на пузыри на ручьях и уходящую вдаль глубину.

А потом дождь перестал, прохватывая и вызвав дрожь, задул ветер. Когда казалось, что сумерки вовсе сгустились, тучи вдруг унесло и нахлынул закат. Розово-апельсиновый свет выплыл откуда-то снизу и изменил освещение – покрыл все – внизу он был гуще, словно за тучами он отстоялся, осел, а у самой земли смешался с ее сероватым дыханием. До поселка уже оставалось немного, когда озеро вышло из-за деревьев и развернулось огромною гладью. Все вдруг изменилось, он захотел понять это, остановился. Чуть-чуть шумел ветер, шуршала трава возле ног, серость вокруг, как и он, наблюдала. Он положил велосипед и прошел к небольшому холму, сел наверху. Он был один – в мире листьев, высокой травы, один с водою. То, от чего убегал, все равно нагоняло – озеро было большим, его враз не объедешь. Вороны, галдевшие невдалеке у поселка, тоже сорвались с тополей, стали летать и кружиться – сначала разрозненно, после – собравшись в огромную стаю. И это черное облако плыло к нему, голосило, металось. Над ним, над холмом они обезумели – казалось, весь мир кричал голосом тысяч ворон, предупреждая о чем-то, небо рябило от хлопанья крыльев. Вороны летали так долго, что даже разбили и сделали легким сам воздух.

...Время шло, поезда не было. Он уже два часа сидел здесь на куске рельса возле заборчика пристанционного сада. Когда он приехал сюда, было довольно светло, теперь же небо над горкой за железнодорожным путем стало почти ночным, синим. Эта синева не была ни густою, ни яркой, скорее побеленной, блеклой, в ней ощущалась прохладная легкость. Лес на горе стал уже нелюдимым. Между путями и лесом на склоне стояли два дома, и за это время он смог проследить, как зажигаются, гаснут в нем окна: там была кухня, и в ней хорошо, а вон там светит призрачным телевизор. Стало совсем уж прохладно, а он еще был в одной мокрой футболке – рука было тянулась достать что-то, чтобы одеться, но только тело ее не пустило – оно плавало в этой прохладе и через нее в синеве. Вдали слева от поворота выползло на насыпь, на рельсы пятно слабого света, еще пара мгновений и прямо над ним в темноте вспыхнул, как глаз разъяренного бога, прожектор. Затем до сознания дошел слабый гул, потом это все – облако света и ослепляющий блеск, гул и грохот начали приближаться, медленно, но все быстрее. Он не поверил, что это его «паровоз», и остался сидеть, и был прав – очень большой сгусток тьмы, света, шума скоро приблизился, вырос; приобрела свою форму масса локомотива, и только, когда она поравнялась, прошла мимо него, он понял, как быстро, стремительно движется поезд. Тепловоз только ударил его волной сжатого воздуха, грохотом, и ни на миг не застыв, прошел мимо – это все было настолько размерен-

но, плавно, что создавало иллюзию неторопливости хода. Он только секунду мог слышать, как ровно шумела машина, потом в грохоте, в лязганье, в ветре все замелькало – вагон за вагоном, гигант за гигантом, чуждые темные длинные тени, и между ними лишь проблески окон того двухэтажного дома напротив – удары железа, шум ветра. Будущее – неподконтрольный огромный состав, не задержалось – чужое. Лишь синева не вполне отступила, часть ее так и осталась поверх высоты очень черного бега. И он устал – от ветра, трепавшего тело, от этих долго идущих вагонов, от лязга, от холода, вдруг прохватившего плечи – тело тряслось бы от дрожи, если б он телу позволил. Он надел свитер, отгородился и, чтоб не мутило от этих мельканий, стал смотреть вправо, как уползает вдаль локомотив – так же неся перед собой букет мутного света. Потом мука кончилась, снова все стихло, последний вагон, догоняя состав, занырнул в темноту, завис в ней и растаял.

Шум еще был, но слабел, ветер стих, и стало слышно, что говорят где-то рядом – как кто-то ехал сюда на такси и сколько отдал за это. И опять дом впереди – там на одно окно меньше. И синева стала дымчато-темной, близкой к сплошной черноте горы, леса, к медленной жизни деревьев. Тишина дня завершилась, и началась тихость ночи. Велосипед сиротливо стоял у забора – его придется оставить. Быть только разумом – велосипед, а если чувством – то поезд.

3. Трубочник уехал

Поле было желтым и пыльным. В поле работали люди, и их рубахи на спинах были мокры. Хотя местность здесь была ровной и плоской, железнодорожная колея делала плавный вираж, и паровозик, тащивший всего три платформы, замедлил ход. Вот он уже поравнялся с людьми и, теперь быстрее, стал удаляться.

– Трубочник, трубочник... – Это закричал, может быть, ты, крик был истошным и неожиданно громким – кричавший, видимо, не ожидал того, что увидел, и потому переврал это слово. После крика и те, кто до сих пор еще не обернулись, распрямились и тоже, кто из-под руки, а кто просто так, смотрели в том направлении. Человек десять, надеясь догнать, уже бежали за паровозом, но некоторые падали и отставали, другие, устав, замедлялись, вставали и тоже смотрели, как он уходит. Только трое догнали состав – один испугался близко идущих вагонов и сел на траву, а двое, один за другим, все же сумели взобраться. Третьей, последней в составе, была платформа с откинутыми боковыми бортами, и когда люди догоняли ее, она очень медленно росла и приближалась – проявлялась – лязганьем, шумом и ржавым цветом железа. Росла и приближалась при этом также фигура того, кто сидел на платформе спиной к переднему борту и кого один из двоих называл «трубочник». Тяжело дыша и вы-

жав из ног все, что возможно, они поравнялись с платформой, порой на пути попадались тяжелые валуны, и надо было их перепрыгивать, чтобы не запнуться. Первым прыгнул высокий – оперся локтями о пыльный дощатый настил, отчаянно пытаясь перенести вперед тяжесть тела, отжался и медленно вылез. Второй после прыжка отдыхал, прежде чем тоже взобраться, прижавшись грудью к платформе, застыл, и первый втащил его вверх за рубаху. Наклонившись, чтоб не упасть от толчка и лучше противиться встречному ветру, они прошли по платформе вперед, где на охапке соломы сидел тот, кого они догоняли. Устав от бега, от риска и от напряжения, они без сил опустились возле него, возле левой руки на солому. Тот был немолод, широкое лицо его не было гладким, черные длинные волосы немытыми прядями обвевали и порой закрывали лицо, но он и тогда не шевелился – он знал, что ветер как поднял их, так и опустит. На нем была старая, бывшая некогда черной шинель с двумя рядами металлических пуговиц, и еще – у него была лишь одна рука, левая, второй не было по плечо, и конец рукава был упрятан в кармане. Когда эти двое добрались к нему, он все так же смотрел на уходящие серые рельсы и, видимо, думал о чем-то, когда же они повалились на доски, он оглядел их и, подняв руку, перекинул ее через головы их, еще не пришедших в себя, и, притянув, на мгновение прижал к себе, к сукну шинели. Они отдышались и тоже смотрели на рельсы, все знали, что сейчас этим двоим надо спрыгнуть, но никто не

подумал о том, что бежать за составом было, наверное, глупо. Прежнего звука не стало. Поезд вновь повернул, и труба, лежащая на соломе, блеснула солнцем, осветив запыленные и покрасневшие лица. Все было пыльно, но ярко – и тот вираж, при этом я был сразу всеми.

Из цикла «Необъективность» (0.015-0.019)

4. Про мартышонка

«Вечер, поезд, огоньки, дальняя дорога...» Меня немножко штормило, я думал – как хорошо я справляюсь с вдруг навалившимся горем. Поезд стоял полминуты – только я влез, и поехал. Забросив сумку на полку, я ушел в тамбур курить – было так горько, что я онемел, в оцепенении смотрел, как разбивают все внутри меня, крутятся мутные пятна. Тоска душила за горло, и, чтобы не умереть, оставалось вскрыть грудь, раздвинуть мышцы и ребра. Я понимал – экзальтация, и я стоял, глядя, как очень большой водопад – падает, падает в воду. Но легче не становилось. Вагон порою скакал, как лошадка, кидал меня на металл ржаво-красной стены, и приходилось, как в матросском танце, перебирать хаотично ногами. «Дай-ка, братец, мне трески и водочки немного». Спать тебе нужно, лечь, скорчиться, спать – «водочку» не

заслужили. И я пошел через темный вонючий вагон к себе на верхнюю полку – не было сил брать постель, не было сил раздеваться. Влажную куртку под голову, и отрубился. Когда проснулся, был день, когда второй раз проснулся, то – ночь, сходил, скурил сигарету. Лицо обвисло и ныло, как и все внутри, и – жить-начхать, и все всегда было бредом – только б обратно на полку. Днем меня вдруг растолкал проводник, а просыпаться я так не хотел – что-то большое плыло, надвигалось, и было ясно – там горя не будет. – Ты еще жив? Встать-то можешь? – Да, да, наверное, встану, а что случилось? – Вот встань, посмотрим. – Я слез, все плыло, даже глаза было трудно настроить, страшно мутило, и ноги дрожали. – Опа, а что-то не так, как будто я отравился. Лучше мне лежать. – «Басан-басан-басана, басаната-басаната, лезут в поезд из окна бесенята, бесенята». – Ну, наконец-то допелся куплет, очень уж долго он пелся. Но никто не лез, а темнота, да, была, серая мягкая вата, хотя, конечно, живая. Потом на станции где-то был врач, а ночью – Харьюв, носилки к вагону, большая шумная площадь, тряска, приемный покой, и – на стол, «...резать».

– Тебе еще повезло, к нам профессор зашел, к ученику, и он тебя оперировать будет. – Я обернулся, но женщина уже ушла, вскоре пришел, весь шутиливый, мужик и начал резать – не больно. Через час сделалось скучно «А за соседним столом компания...» – кого-то резали сложно. Наркоз был местный, и на третий час он стал уже отходить, тупая боль но-

ем ныла, но я заметил одну медсестру, что в мини-юбке, туда и сюда, без конца бегала мимо – а стол-то низкий. Видимо, я прокололся, и врач заметил, как я верчу головой, он подозвал ее. – Постой-ка тут. – Так и зашили, почти без наркоза. Кругом все белое, гладко-блестящее было, и много-много слепящего света. А отвезли на каталке – «Нет, я не понял...», темно... Ты полежи, милый, тут, там палата еще не готова, – из полумрака сказала старушка и растворилась в нем за поворотом. Вскоре глаза понемногу привыкли – арочный очень большой коридор, из его сводчатых окон шел ночной давящий свет, перемежаемый тенями листьев. Рядом стояли каталки, только, похоже, пустые. Меня бил сильный озноб, ведь под одной простыней – холодно, невероятно, да и наркоз отошел до конца – адская боль во всем теле. Час ли прошел, я не знаю, когда заметил – я здесь не один, а под стеной на полу, придвинув ноги к лицу, сидит в тени мартышонок. Маленький, в два кулака – сидит и смотрит. Детские глаза, большие, на чуть-чуть сморщенном сером лице глядят печально и мягко. Серая шкурка пушисто сливается с тенью, он не шевелится, просто все видит. И я смотрю на него повернувшись, боюсь спугнуть, тоже замер. Чернота сверху, повсюду, нависла, хочет пройти между нами, если я вдруг отвлекусь, и она здесь пройдет – то потеряю его, потом уже и не сыщешь. Время идет очень долго. Озноб колотит все тело и отдается, особенно в швах, но и ему не хочу я позволить отвести мои глаза. Я начинаю уже понимать, что видят

его глаза – совсем не так и не то, что я знаю. Тело мое для него слишком бело и сухо, ему смотреть на него неприятно, а важно то, что во мне – как будто мягкая жидкость. И не просто важно – ради нее он приходит сюда, если он будет хорошим и чистым, то эта жидкость к нему перейдет, перетечет в эти добрые очень большие глаза – она сама себе знает, где лучше. И что-то перетекает. Я становлюсь суше, глуше. Только в какой-то момент я поплыл, то есть меня понесло над бледно-кремовым морем – вперед и вправо.

Очнулся я уже в палате, когда меня выгружали с каталки – озноб бил совсем свирепо, боль в животе выжимала мне мозг. Я попросил, чтоб накрыли вторым одеялом. А мартышонок совсем не исчез – я научился уже ощущать, что он поблизости, даже не видя.

И я еще у него научился – осознавать эту мягкую жидкость в других и ценить только ее, через нее быть единым со всеми, жить вместе с ними их жизнью. Ну и спасибо за это ему, но и меня подоил он неплохо – и через множество лет полнота чувств не до конца возвратилась – тупо все и схематично. И лишь недавно я вспомнил его и глаза (они всем верят), и мы смотрели друг в друга, и ко мне что-то вернулось.

Когда проснулся, был день, все болело, дрожь хоть прошла, но все равно было зябко, сил ни на что не осталось. Когда с трудом повернулся на бок, то увидел – рядом лежит худой «синенький» парень. – Ты с операции тоже? – Да, нас там резали вместе. Вот, мандарины мне мать принесла

– бери, пожалуйста, сколько захочешь. – Приподнял голову – глянул, странный оранжевый цвет от шершавых шаров на его тумбочке рядом, как молотком, стукнул зрение. – Позже, спасибо. – Я вновь отключился. Снова открыл глаза уже под вечер – нянечка меня трясла. – На-ка вот выпей таблетки. – А где тот парень с соседней кровати? – Перевели его... – И она вдруг отвернулась. – Ешь, вот его мандарины остались. – Положив их на мою тумбочку рядом, не обернувшись, она вдруг ушла, а я опять провалился.

...Как-то, возможно назавтра или в какие-то еще лежачие дни, я вдруг услышал смешной разговор – на койке парня теперь был мужчина – поверх меня он рассказывал дядьке. – ...Идем мы раз по Клочковской, он и говорит – «Смотри, Валера Леонтьев! Ну а давай дадим ему...» – Ну мы и дали. Он где-то здесь потом тоже, возможно, лежал, может быть, в этой палате.

...А как-то ночью проснулся от громкого голоса, кто-то ходил, говорил. – Ну, вот же, вот – мой КамАЗ, под окном, я его двигатель знаю! Надо идти, он – за мною. – Глаза обвыклись с густой темнотой, и я почти различал, как кто-то мечется из угла в угол – пойдет к окну, долго машет руками – лишь силуэт черноты на чуть сереющем фоне. – Что с ним? – спросил я у дядьки, спать он не мог, очевидно. – Белочка после наркоза, бывает. – На койке не шелохнулись.

Время шло в трех скоростях (как будто в разных про-

странствах): по меркам этой палаты все тихо тянулось, по меркам жизни то было мгновение... По меркам тех мягких глыб, что вращались в душе, как жернова, растирая сознание и убивая все чувства – время стояло, и сколько жизней уйдет, чтоб закончился этот процесс, и вообще – ну а буду ли жить, было не ясно тогда, как теперь – как будто вход в самую вечность, времени нет, есть падение. Что я сейчас, а что в тамбуре – неразлично. Дорога, впрямь, стала «дальней». Боль от тех брошенных ею нечаянных слов не поддается наркозу – я все попробовал, не поддается. И что уж тот мартышонок – фигнюшка. Внутри по-прежнему корчит. Только душа научилась сжиматься, когда встречается с чем-то подобным, лишь с подозрением на это – почти уходит контроль над собой – «ничего мне здесь не нужно, только не это, не надо».

5. Гости

Неинтересно, что можно увидеть вокруг – универсальные лица, такие, чтоб видели все, они скорей говорят о прошедшем – напластовалось, слилось, плюс его прежние мысли, желания. Но, больше этого, лицо его – баннер-лозунг, его программа по жизни. Только и это не важно. Вот и выходит, что его лицо это не правда о нем, а что-то так – лишь флюид... Есть на поверхности еще один горизонт, он появляется и исчезает – это намерения-тайна, будто рычание скрытых зверей, если внимателен, видеть нетрудно. И хоть они

удивляют всегда, ничего важного в них тоже нет – ну опять жадность, ну злоба – за этим нет перспективы... А вот другой горизонт чуть поглубже, и на поверхности лиц не выходит, видно его только внутренним воображением. Здесь, правда, нужно, чтоб ты не сказал сам себе, что это просто фантазии-бред, а попытался понять и всмотреться. Что видно здесь – это уже совсем не зрачком, а всем тобой вместе с прошлым – переложение всех его черт, изменений лица по ситуациям или в ответ на слова – вот это, третье, живет в настоящем. Но только это не есть человек. Я бы назвал это – демон. Именно он, будто формула, все и решает, он есть какая-то правда. Мы не привыкли так видеть, эта картинка уходит, как будто ничто, но если сбросишь ее – ошибешься. И первый уровень вновь заполняет глаза – просто лицо человека... Это все ладно, но все же – тоска, мне оно точно не нужно. Крутятся «демоны», варят котел, но для меня это чуждо. Если б я знал, «что есть я», я бы сказал, как должно было б быть, а так – смотрю, будто пленник.

Здесь в основном появляются три странные птицы – они, конечно, не птицы, просто не знаю, как еще назвать. Одна – коричневых, темно-лиловых тонов, цвет этот полупрозрачен – темное слабое полусвечение, но то, что видится через него, вовсе не то, что за нею, а все сознание в ней. Смотришь в него, углубляешься, и выясняется, что все внутри было светлым, просто насыщено цветом – темно-лиловый стал розовым – линии падают вниз, и чем ты дальше, тем мчатся быст-

рее. Вдруг появляются полупоющие звуки – стон, нестихающий визг и гудение – совсем не звук, настроение. Ты погружаешься в это, и оно меняет тебя, думаешь так, как оно – без тени прежнего знания, весь ты из прошлого сам себе чужд и отвратительно мелок. А пустота розоватых свечений вдруг разрастается в бездну, и самому уже хочется что-то кричать, рвать своим криком иного. Если слегка приподнимешься, вспомнишь себя – видишь огромные крылья, и снова это не крылья, а два живущих потока, что подбирают к себе все вокруг и чуть колышутся, дышат. В них, как скелет, управляет всем ночь, переходящая в черное, в серость. Взгляд его цепок, но иногда отстранится – он тебя слышит в такие минуты, но он тебе не ответит. Он был когда-то спортсменом, в нем до сих видна сила – мне вспоминается смерч, что повалил вековые деревья на древней дороге, нам опрокинул ворота, ушел по пруду на гору – так же и он, формула его не знает, что дальше. Сидишь и смотришь в лицо, отвечаешь, он говорит, и шевелятся губы, движутся его глаза, фразы его проникают в сознание, и ты ему отвечаешь, кивая – а его птица висит, что-то ткет, и вырастает покорность. Он и не знает про эту свою ипостась, а если скажешь, то будет считать, что ты слегка обкурился, и птице станешь не так интересен – ей нужна свежая кровь, но кровь должна быть здоровой. По всем приличиям – час, слушаешь, видишь – птица слегка отдохнула, набралась воздуха через тебя и вместе с ним улетела.

Когда приходит другой с бородой, как у Маркса, если бы он не чесался ни разу, в разные стороны клочья, и будет умичать – вянешь, в ответ вставляешь насмешки – он не обидится, будет доказывать дальше смесь его истин-находок под христианской подливкой. Глаза его за бронестеклами толстых очков, очень растерянно, порой моргают. Тут твоя птица завоюет – опустить голову между колен – то ли рыдать, а то ли чтоб материться. А его птица значительно больше – черно-коричневая и шоколадная, как шляпы «белых» грибов, взмахи ее много шире – так, что вбирают весь воздух, ты задыхаешься, стонешь. Светлое на глубине его шире – ты в негоходишь, как в рай – все внутри обетованно. Оно готово обнять этот мир, мир, как паршивый котенок, не хочет, но птица его прощает. Она все машет и машет, а ты киваешь. Даль раскрывается невероятная, «а вдоль дороги» – они – «с косами» – идиотизмы. Как-то другие из наших гостей ночью гуляли по улице возле забора, он подошел к ним, шурша в темноте по траве, и поздоровался – он был в плаще с капюшоном, с косой, тем стало дурно. Он, как и первый, чего-то принес – лук и чеснок прямо с грядки – он нам не нужен, ну а не взять – неудобно. Жена дает ему в миске еду – поверх очков, поднеся ее к носу, он все рассмотрит. Нельзя селедку есть в пост – ее салат забракован. А птица счастья летит, унося его вверх – и мир огромен. Причем в свои пятьдесят, кажется, он не проработал ни года нигде постоянно – как такой полный, не ясно. Вчера «вкусняшка» его уползла – он

так хотел съесть медянку, что поселилась под бочкой – не дождалась конца поста. Так как сиденье низко, есть только лицо, его колени и ступни. Он в офигенных его сапогах прошел леса и болота – его огромные белые пальцы на светлом ковре, ногти на них расслоились.

Третий – с лицом Маяковского раньше, теперь сухой, чуть сутул, и как бы стал ниже ростом – он отдал жизнь только этим местам, лицо его от загара стало оранжево-темным, на нем седая щетина. Но за его пропеченным на солнце лицом кроются двое – рациональный мужик и просто добрый ребенок. Если взглянуть в него глубже, мне нравится цвет, тоже коричневый, красный, но с золотистым оттенком. У него два слоя крыльев – одни совсем небольшие, как плащ, внутри которого цвет и свечение, внешние – черные, полупрозрачны, и закрывают полнеба. За счет совсем небольшого пространства внутри кажется – он, будто мышь, сосредоточен на чем-то. Но, когда он распрямится, он видит дальше. Мы говорим с ним предельно конкретно, потом молчим, все спокойно.

Они не очень-то любят друг друга, и если здесь собираются вместе, то кто-то сердится, спорят. Каждый живет в своей сказке, не понимая, что даже она тоже включается в сборник его обыденной частью, и эта «книга всего бытия» – лишь расписание для птиц, а не чудо.

Все же они мне друзья, когда попросишь, помогут. Смотрю на них и не верю себе – как можно быть таким странным, но также вижу и их безусловность, логика в каждом железна

– все в них оправдано птицей, и комар носа не всунет. Мне остается не спорить, глядеть, лишь изредка вставить слово. Лишь мои серые крылья, все накрывая собой, меня слегка примиряют: все они – пятна, такие цветы, главное им не поддаться. Я, как всегда, поднимаюсь, смотрю сквозь прозрачность – пусть, раз им нравится так, ведь у них нет той сосущей тоски, что выедаёт мне печень. От радиации солнца все раскалено, и за веранду не выйти – мы сидим в тени. Голубизна, облака, чуть сероватые доски, яркие светло-зеленые травы – это у нас с ними вечность. Голова слабо кружится. Они ушли, никого, лишь птица мира летит и посылает от крыльев поток – чуть мутноватые полуполоски. А вот она не уйдет – это ты часть ее, и в ней совсем нету криков.

6. Маша, Саша и колено

Маша смотрела в окно электрички. За окном мчалась назад густо-зеленая масса деревьев и разглядеть что-то там было сложно. Да и смотреть было не на что – она вполне представляла себе неухоженный лес с его корягами, его крапивой, кустами, а то и с хлопаньем полуболот под ногами. А электричка шла почти бесшумно – чистенько, светленько, но скучновато. И Маша стала смотреть на свое отражение на стекле рядом с собою – вполоборота лицо, полурастаявший след от него, также следящий за нею. И из-за этого снова всплыла и заслонила собой остальное ее привычка держать

себя под постоянным контролем, та, что и делала ее собой, и дала все в этой жизни.

Все б ничего, кроме щек, Маше казалось – они пухловаты, ей бы хотелось, чтоб были чуть впалы. Она почти и не видела грудь, и это было ее постоянной досадой – была крупней, чем она бы хотела. Тысячелетия в прошлом это считали бы за идеал, ну, а ее почти злило – внутри себя она была другой, но приходилось мириться. Все остальное, все было нормально – лицо вполне себе правильной формы, также глаза, нос и губы; светлые волосы (хоть из-за щек приходилось носить всегда косу), стройные ноги (для многих на зависть), бедра и талия, рост выше среднего – не придерешься. Она умела одеться. И с головой хорошо – красный диплом у одной был на курсе. Она сумела по жизни нигде не забраться в дерьмо – и на душе тоже было спокойно. Она взглянула на туфли, на рваные джинсы, чуть-чуть поправила блузку и перешла дальше – к самокопаниям. Холодноватая – да, ну а как по-другому – если ты будешь теплей, тогда тебе влезут в душу, и ты залезешь в чужое – а это, бр-р-р, неприятно. Глупости пахнут противно. Высокомерной она не была, доброжелательной – «через платочек». Ну, такой мир, в его массе.

Но исключения все-таки есть – на ум опять пришел Саша, и Маша даже вздохнула (хоть вышло по-бабски). Они работали вместе: он – замдиректора, она – начальник отдела. Она запомнила первую встречу около этой стеклянной гигантской их башни. В то утро, хоть небольшой, был туман,

и она шла от парковки. Издалека различила фигуру мужчины на абсолютно пустой площади рядом со входом. Все было так нереально – все три огромных предмета: асфальт и полупрозрачная башня, и бледная сырость вокруг – все это объединялось. И только он был конкретен – стройный, в отличном костюме, высокий. Он ждал ее, чтоб провести за собой внутрь стекла и чтоб принять на работу. И как всегда, она не обманулась – и среди всех там внутри, в этом искусно очищенном и освеженном там воздухе, среди всех пальм и рядов всех столов, также стеклянных кубов кабинетов, никеля, белых рубашек и круглых голов – там только он выделялся. Джентльмен, что не отнять, всегда спокойный, достойный. Он стал ухаживать – вежливо, тонко. Он был хорош в ресторанах (женщины его всегда замечали) – за белой скатертью с тонким вином – ничего лишнего, лишь безупречность. Уже пора было что-то решать, но (Маша снова вздохнула) она его не любила. Впрочем, она не любила и раньше, и начала понимать, что любить это, видимо, глупость, эта болезнь пройдет мимо. Но замуж уже пора, из принцесс пора идти в королевы.

Саша подъехал к вокзалу и пошел ко входу. Было немного прохладно – еще только восемь, но все же солнце уже пригревало. Он шел по граниту площадки, чувствовал крепость всех мышц – он хорошо поработал вчера в фитнес-зале, не перебрал, строго в меру. Полупустая реальность – машины

и люди, дома, все вокруг неинтересно – в них нет малейшей интриги. В праздники ехать опять на рыбалку, чтобы уважить начальство – как это все надоело, да еще пить вместе с ними. Он глянул на часы на башне – через минуты две-три Маша выйдет. Он понимал – уже скоро, Маша должна все решить, не сомневался в ответе. Да и куда ей деваться, с подводной-то лодки. Толстый расхристанный чмошник бежал с рюкзаком не уступая дорогу, пришлось замедлиться, встать, пропуская его, и настроение стало похуже. Он даже глянул на небо, но не нашел сострадания, а только бледные тучи. Впрочем, мужик тот напомнил отца – тот еще был маргинал, хоть, слава богу, на свадьбе не будет. Досады стало поменьше. Подул, некстати, холодный такой ветерок – пришлось поправить прическу. Как же идти в ателье, чтобы пошить костюм – чтоб одному или с Машей? Он сам любил больше шерсть, а Маша может того не одобрить – по мелочам спорить с ней не хотелось. Он безучастно смотрел на ментов, но те, заметив, слегка стушевались и отошли, оглянувшись.

Из темноты незакрытой двери вышла летящая Маша, остановилась – красуется, в нем поднялась небольшая, но ревность. Он дал ей время увидеть его и, помахав, пошел навстречу. За выходные она загорела на даче, отчего стала еще красивее. Они дошли до машины.

– Нет, сядь на заднем сиденье, на правой двери замок заедает, вечером съезжу на сервис. – Он нажал кнопку брелока и подошел, чтоб открыть для нее слева заднюю дверцу, и

чуть помедлил, любуясь, как, уже сев, она заносит в машину свои прекрасные ноги. А сев за руль, обернувшись, сказал: – Ну, заезжаем к тебе, чтоб ты переделалась, и потом сразу на службу. Как оно было на даче? – Она чего-то уже говорила, и зажурчал потихоньку мотор – стало спокойно, комфортно, машина плавно ускорила, чтобы успеть под зеленый.

Смена была трудноватой – днем было много текущих работ, всю ночь аварии – я загонял две бригады, они были злы. В конце концов получилось все даже красиво, но я поспал три-четыре часа, и теперь, выйдя на воздух, спокойно куря – ведь не покуришь в диспетчерской, даже в окно (наутро Мельников всласть отхамится) – пошел вперед по аллейке. Там, за дорогою, будет ларек, можно взять баночку пива – кому сейчас уже утро, а для меня вполне вечер, и как приеду домой, будут простыни – чудно! Лицо, как маска, висело на мне – мускулы в нем уже спали. А ноги шли – мимо длинных высоких домов и шелестящих деревьев. Придомовая дорожка свернула на обширный газон и впереди упиралась в дорогу – жалко, конечно, что нет перехода – перебегу, как обычно. Остановившись за самым поребриком, как зоркий сокол, я выжидал промежуток побольше в движении машин – хотя их было немного, но, чтоб идти, не бежать – такой не появлялся. Ну вот – сойдет, но только справа идущий вдоль той стороны, вижу, включил поворотник налево ко мне, тогда и я оглянулся налево – там вдалеке тоже шел с поворот-

ником, тоже ко мне, и я, вздохнув, полубоком и полуспиной сделал полшага обратно, при этом глядя, как оба все же проехали прямо. Раздался слабенький хруст, и я увидел под носом стекло, а сам лежу на капоте. Машина тихо наехала сзади и, точно сбоку – в колено. Мне стало очень неловко – ну и чего я разлегся, и понемногу я начал сползать на асфальт, но только встать почему-то не смог – колено левой ноги вдруг ушло куда-то внутрь и направо. Пришлось опять завалиться. Открылась дверца водителя, вышел высокий мужик – остановился, глядел на меня, я перед ним извинился. – Простите, я сам виноват, сейчас немного вздохну, отойду. – И постарался дышать – получилось, снова попробовал встать – нога почти распрямилась, только я, стоя, качался. Он все стоял, и я снова сказал: – Сейчас, сейчас отойду, вы уж меня извините. – Он пошел к дверце, но только я все стоял, нога не шла, не хотела. Я как-то дергался, не понимая – и это стало уж слишком. Он снова вылез из дверцы.

– Вам как-то помочь?

– Нет, нет, спасибо, простите. – Но вот пойти почему-то не мог, даже стоять было трудно. И тут меня осенило – халява, а почему не схитрить, эти десять минут до метро можно же с ними проехать. – А вообще-то... если чуть-чуть подвезти до метро, было бы здорово, если возможно. – И он, кивнув, почему-то опять сел за руль, но потянулся на правую дверцу, что-то подергал на ней изнутри, потом толкнул, и та чуть-чуть приоткрылась. Я попытался идти до нее, но получилось

забавно, нога слегка заболела. Но можно было держаться рукой, и я допрыгал и влез на сиденье. Он наблюдал мои телодвижения.

– А вообще вам куда?

– Далековато, на Лиговку.

– Мы довезем вас. Пробки и мы опоздаем на службу. – Станный какой-то, ведь я не прошу... но, так как он сказал «мы», я наконец оглянулся – там в полумраке от дымчатых стекол сидела женщина в строгом костюме, я поздоровался, она в ответ протянула немного «Бон Аквы».

– Воды хотите? – И я почувствовал, как пересохло во рту.

– Да, извините, спасибо. – Нога совсем не хотела сгибаться, пришлось ворочаться, чтобы устроиться боком. В машине пахло, как в морге – я ненавижу все елочки-дезодоранты, что люди вешают в свои машины. Меня мгновенно почти укачало – здесь было жарко. Нога почти на глазах раздувалась и все сильнее болела, но я сумел уловить атмосферу у них – он пару раз, обернувшись, ей что-то сказал, ехал, не глядя вперед, ждал, пока она ответит (и до меня вдруг дошло – так он меня не заметил)... – душны у них отношения. В пробках, конечно, стояли – через полчаса все же подъехали к дому.

– Здесь не припаркуешься. – Он ехал дальше вдоль ряда машин, до конца улицы в конец квартала. – Вот, только здесь. – Он резко остановился и, подавая визитку, сказал: – Если лекарства нужны будут, вы позвоните и продиктуйте

ваш номер – я позвоню вам, узнаю.

Сказав «спасибо» и номер, я вылез, машина ушла – и только тут оценил расстояние – так все и вышло, цепляясь за стену, я ковылял полчаса. Мимо шли люди, спеша на работу – человек тридцать, возможно. Мне было стыдно под взглядами – видно ж, что я пьян тотально. Лишь в конце девушка мне предложила помочь, но чем поможет – хрупка, отказался. А вот за пиво пришлось попросить пару раз – через дорогу идти в магазин меня уже не хватило – один мужик мне принес, согласился. Доковыляв до кровати, я рухнул. Через четыре часа, когда колено раздуло в три раза и боль уже разъедала мозги, я позвонил – друг с женою приехал. Вызвали «скорую» и – в Джанелидзе.

Пара часов на каталке в фойе, и положили в кладовке на стол – два развеселых таких пацана через колено иглой откачали в нем жидкость – тут я не смог, заорал. Сделали гипс мне от пятки до паха. И две недели в палате – врач заходил пару раз, и пару раз заходили друзья, не покурить, комары по палате. А за окном на большом пустыре по временам кто-то жарил шашлык – и на восьмой, к нам, этаж долетал его запах. Кто-то зашел – расспросил, как все было, потом был даже гибэдэдэшный инспектор – я ему отдал визитку того Александра, пусть разбираются сами. Он позвонил, я лежал уже дома.

– Здравствуйте, я – Александр. – Медленно я догадался, кто это.

– Здравствуйте. – Мы помолчали – пересечение разных пространств и в этот раз было тихим.

– А у меня на два года забрали права. – И мы опять помолчали, я извинений в себе почему-то найти не сумел, и даже сам удивился. Что он хотел, я не вник, как-то не смог заглубиться. Он отключился, а я стал дальше смотреть на окно – лет уже пять не смотрел телевизор.

7. Лучше, как лучше

Первое воспоминание – я могу видеть квадраты бледного плотного света (сейчас сказал бы – их восемь) и между ними, темную на их сплошном светлом фоне, как бы большую решетку (сейчас я знаю, что раму окна). Подо мной твердое. Не шевельнуться. Все это долго. Я никому здесь не нужен, и мне не нужен никто. Тихо. Спокойно. Все чисто. Я могу ровно дышать и, так же ровно, все вижу.

Может быть, это второе – вокруг колонны, одни розоваты, сверху идет желтый свет – я могу двигать руками – сверху свисают какие-то тени и иногда шевелятся. Выше идет жизнь больших – они что-то решают, они бросают под стол для щенка кости от курицы, но это я – не щенок, они об этом не знают. Я научился уже всюду ползать и приобщился к их жизни.

А это было в яслях – мне очень скучно, и не пролезть через прутья ограды. Я устал грызть попугая за его толстый

пластмассовый хвост, причем несколько не вкусный. Рядом лежало пасхальное яйцо из дерева – мне оно было, как дыня сейчас – в рот ни за что не засунешь. Мне оно что-то напомнило, и я, отчетливо помню, подумал – «А, они знают и ЭТО!». И после этого теменем начал смотреть на других в комнате-зале, на их свечение. Тихо, но уже не скучно.

Потом, уже через год, в тех же самых яслях – нас повели на прогулку, зима, и всех одевают в пальто или в шубы... валенки, варежки, шапки с резинкой – все это долго, а я уже давно одет, и мне мучительно жарко. Девочки, мальчики – мнутя у двери, когда ее открывают – за нею свет ослепляет.

Тоже зима, во дворе возле дома меня поставили в снег по колено, из-за большого пальто я не могу по-нормальному двигать рукою с лопаткой, да и копать уже не интересно. Вставив лопатку в снег ручкой, я начинаю вдруг ею крутить – и на снегу возникает воронка. Как оказалось, за мной наблюдали – он, как и я неуклюжий в одежде, был вставлен в снег рядом сбоку, и он смотрел с любопытством. Я дал ему покрутить снег лопаткой. Так, лет на десять, я получил друга Мишку.

Пять первых воспоминаний, два первых года

Лишь один случай запомнился как негативный – меня тогда в первый раз повели стричься. Когда меня усадили на кресло, я ей сказал, что не надо, она, суюкая, не обратила внимания. Я много раз ей сказал, вырывался. Она не слушала, я для нее был болванкой.

И стальною ножниц она начала резать все мои волосы – память, я понял, что ничего не поделать, но не простил – когда кошмар был окончен, вслух пожелал ей плохого. И умерла, в тот же вечер. Связано ли это было со мной, я не знаю. Мне ее не было жалко, если она не могла слышать слова другого. (Хотя, конечно, позднее я дрался, и раз стал зверем – в ответ на подлость так разодрал парню щеку ногтями, что на всю жизнь он остался со шрамом, после того «завязал» с этим делом.)

Потом четыре года в жизни моей детский сад – главное, что я запомнил из тех долгих лет, это единство со всеми. Кто-то, конечно, был в чем-то слабей, кто-то порой делал гадость – как за себя было стыдно, и как себе я старался помочь, и как себе они мне помогали. Шляпы-панамы и белые трусики, кто-то порой с животами навывкат, все, как гусята, за воспитателем шли на прогулку на речку, там, на поляне, поросшей маленьким желтым цветочком «масленком», как-то играли и жили, затем – обратно, обедать и на сончас расправлять раскладушки.

И во дворе, когда вернешься домой, было примерно все так же – старшие парни всегда уважались и были к младшим всегда справедливы, многому нас научили – я заразился от них страстью к камню, к горам и к лесу. А сколько счастья, когда они раздавали находки из дальних поездок – в моей коллекции было тогда больше ста минералов, и много редких.

В городе был интересный чудака – был машинистом на поезде, девочку сбил на путях, и от чего потом стал сумасшедшим – огненнорыжий, ходил в своем пиджаке поверх майки и пугал детей – дергался и приговаривал что-то. Часто в кустах акации мы находили тетради – он до аварии в ВУЗе учился – прописи из закорючек. Мне было пять, солнечным утром я шел вдоль длинного желтого дома – думал, что здесь нашел кошку и тащил домой – ох и большая (сейчас – как овца), поднял на третий этаж, она назавтра исчезла. Я все смотрел – может, кошка найдется. Вдруг со скамейки за мной увязался тот Леня – он шел и шаркал ногами, только до бабушки так далеко – еще четыре подъезда. Он отчего-то завелся. «Шагай, ребенок маленький» – вдруг прозвучало мне в спину. Я оглянулся, конечно – он весь ломался, качался, но шел, в руке сжимая тетрадку. Ну, я шагал, а убежать не давала мне гордость – вот я еще дураков не боялся. Его заклинило, сзади, сливаясь, несло – «Шагай, ребенок маленький. Шагай, ребенок маленький...», я и шагал. И шагаю.

Идеология была картонной, все это знали, и никому она жить не мешала, даже была и отчасти созвучной нашим естественным чувствам. Что было где-то в верхах, мы не знали, и нас оно не касалось. Никто не жил тогда бедно – машин хотя было мало, а чаще лишь мотоциклы с коляской, и телевизор еще не у всех, но напряжений «дожить до получки» или купить, скажем, мебель, не было ни у кого, не говоря о

бесплатных квартирах – лишь чувство вкуса определяло то, как ты одет и что имеешь ты дома. Сначала мебель отец сделал сам, потом залезли почти на полгода в долги – купили финскую; ну а костюмы, пальто и плащи у родителей были такие, мне и сейчас-то завидно. В нашем (100 000) совсем небольшом городке отец там был архитектор, мать – врач, но по зарплатам не выше рабочих, смыслом у них было сделать «как лучше» (для всех), а иных смыслов и быть не могло – не было таких извилин в сознании. У меня был чемодан самых разных игрушек и стопка детских любимых мной книг (тех, что формат А4) высотой больше полметра, была коллекция в пятьсот значков; велосипед, правда, брали в прокате на лето, но лыжи были свои. Я ездил на лето к бабушке в сад и в Челябинск, был в Алма-Ате, в Пржевальске, в Москве и в «Орленке», вот только в Крым меня летом не брали – дороговато, конечно. Кто-то потом начал врать, что жили все тогда плохо – откуда выползла дрянь – из недодуманной, брошенной на выживание деревни. «Голос Америки» – этот старался. Но злоба, подлость или стремление жить ради денег – для меня все еще странны, это все было – в кино про фашистов. В нашем дворе, как во многих других, и дети знали, что неразумно и против природы выбирать сторону зла, впрочем, никто и не дал бы такую возможность. Шкурников не было вовсе. Вечер, качели и звук в затихавшем дворе под посиневшем темнеющим небом.

...Мы с пацанами играли в кораблики в снежных ручьях,

мать подошла, показала нам на россыпь мелочи рядом – каждый набрал там почти по рублю, все фантастически стали богаты! Мой парафиновый аквалангист, с вплавленным в живот свинцом, мог дотянуться до самых глубин на дне подводного мира. Были колени разодраны вдрызг много раз, только от матери лишь подзатыльник – нечего быть неуклюжим – теперь, пусть я поскользнусь, натренирован не падать. Чика, отвалы-карьеры, было метание ножа в дверь ТП, и я был лучшим по производству рогаток на всех, а для своих изобрел и свинцовые пульки. И страх, живущий в подвале – в затхлости холода и в темноте, где трубы входят под землю – когда выходишь во двор из подъезда, главное не оглянуться. Тополь, посаженный мною тогда под окном (под руководством «сержанта»-татарина с верхней площадки), стал выше дома. Борька был старше меня на два года, ну и, конечно, сильнее – мне приходилось слегка напрягаться, чтоб быть на равных. Там было лишь мое место и содержание жизни – чтобы знать код, надо в этом родиться.

Медитативным я стал позже в школе – может быть, просто насытившись всей непосредственной жизнью, я перешел на учебу и книги. Горка для спуска на санках была под окном из посеревших под солнцем занозистых досок и мощных бревен – весной с утра еще было прохладно, читал «Героев Эллады» и вполне верно подумал, что теперь время не мышц, а больше для понимания. Литература и физика, шахматы, велосипед (раз даже двести км по горам)... – я во дворе появ-

лялся пореже.

Сволочи, правда, конечно, встречались – в пионерлагере и пара в школе, но, если просто держаться подальше от них, воспринимались тогда как больные.

Странное все началось чуть попозже, мне уже было четырнадцать. Старшие, кто на четыре-пять лет – кто-то уехал, а кто-то жил взрослой жизнью. Остался Борька, что старше меня, и трое младше меня на два года – в шестидесятых никто не родился. Я в чем-то был почти лидер. И тут приехала во двор семья – два парня младших, один старше на год – смуглый – таких я раньше не видел, чересчур жесткий. Я заболел по-серьезному еще в конце января и на два месяца попал в больницу. Когда меня в первый раз отпустили чуть подышать на крыльце, снег уже почти растаял, и вдруг пришли пацаны со двора – мне было даже неловко. Через неделю меня отпустили, только, пока я болел, мы переехали и обживали другую квартиру. Они пришли вроде в гости – мы поболтали, сидели в чужом незнакомом дворе, вскоре тот новенький смуглый и Борька странно так переглянулись – и начались нехорошие шутки, меня они очень мало задели, что завело их сильнее. Дело дошло до, казалось бы, слабых тычков, потом пошла уже злоба – я тогда просто ушел, навсегда, и никого из них больше не видел. Просто забыл – нет так нет, и не до этого стало.

Но вот недавно подумал – ну захотел мое место чужак, и пусть не ведали те, что помладше, а вот за Борьку обидно – видимо, было в нем второе дно из-за

его жизни дома. Теперь таких всплыло много – они не все понимают, и я ухожу, как не уйти – я не знаю. Ну ведь не драться же было. Двора не стало. Город утратил свою сердцевину, и когда позже не стало родителей, сделался пустым. Так начиналось, что весь мир и я пошли по разным дорогам.

Я-то остался там прежним. Сейчас, живя в мире их странных правил игры, я иногда размышляю – формула «жить, чтобы жить» неплоха, но к ней возможно еще дополнение – «и как лучше для всех», этого мне не хватает.

8. Иструть-forever

В первый раз я услышал про эту деревню лет в десять, когда мы полмесяца плыли с отцом по реке на резиновых лодках и остановились на дневку в двух часах ходу – он пошел купить там продукты. Потом мы проплыли мимо, но с реки деревню не видно. Когда мне было уже двадцать девять и надоело шататься с палаткой, я захотел купить дом где поглуше – отец опять потянул в те края, уже пешком по рыбацкой тропе по склону горы Чулковой.

Было чудесное бабье лето – очень зеленые темные ели на фоне желтого тихого леса, нет комаров, духоты, запах – как будто от веников в бане. Поля грибов в замеревшем прозрачном лесу, но только мы их не брали – нужно пройти километров пятнадцать, и лишний груз помешает. А люди брали, конечно – мы с ним

сидели-курили и наблюдали, с сочувствием, тетку – она уже собрала мешков пять и – перенесет два из них метров сто и возвратится назад за другими. Тонкие стволы-колонны берез на совершенно невидимом фоне пространства, голубизна в высоте, и облетевшие листья повсюду. Вода в прозрачном ручье, перебегающем по руслу мелких камней рыжую глину дороги, мы с ним в застиранных старых штормовках – ни с чем не связаны, то есть свободны, что подтверждал и весь воздух.

Чуть блуканули – мы ломанулись вниз прямо по склону, а склонов, разных отрогов там много – среди колонных осин, дыша их запахом, горечью желтых уже опадающих листьев. Где-то с поляны мелькнула деревня, как будто спавшая в тихой долине. Чуть-чуть устали и вышли не там, на двести метров пришлось возвращаться. Еще спускаясь с последней поляны, я как-то выделил дом – и самый дальний, и самый высокий, и показал – «Дом художника. Видишь?». Деревня встретила полным улетом смотрящих на небо домов и черной грязью ее дорог-улиц – мы шли по тропке вдоль них, но все равно влажно-скользко. И никого, и собаки не лают. Отцу понравился дом самый новый – не посеревший от времени, желтый, и мы зашли, и старушка его согласилась продать, но меня что-то тянуло в конец – что же за дом я увидел с горы, еле отца упросил пойти глянуть. Вокруг стояла сухая крапива, окна забиты, но и вблизи меня все поразило – и дом, и место как будто подняты чьей-то ладонью – даже покой всей деревни и леса здесь показались мне

вдруг напряжением – было настолько комфортно, что я почувствовал даже поток – воздух стремился вверх в антициклоне и поднимал с собой также меня, только потом я узнал, что здесь всегда это чувство. Прямо за домом лежала долинка, где раньше был большой пруд, за ней параболой горка – дом находился почти в самом фокусе этой горы, словно бы зеркала или антенны. Отец меня торопил, но я не мог отойти и упрямился, хотел обойти вокруг дома. После огромных ворот стоял дощатый заборчик. Но по сравнению с любой архитектурой этот угол забора в деревне для меня вдруг показался не хуже – я мог стоять, отдыхая, дышать и быть никем, и не думать. Пройдя крапиву, я встал перед ним и окончательно замер – не было в жизни моей никогда ни такой тишины, ни чистоты и прозрачности воздуха всюду, ни красных ягод калины за забором. А за участком копали картошку, я покричал, и мужик подошел – «Да» – говорит – «Этот дом продается». Потом долины и горы, серо-свинцовая река меж скал – мы шли и шли, но грибов так и не брали, даже когда на огромной поляне присели поесть у бревна – вот уж действительно, «коси косой», на нем стояли опята. Голубоватое небо конца сентября, тепло – наверное, градусов двадцать.

Потом отец откололся от этой затеи – мать не хотела брать дачу-обузу, в мае я сам и купил этот дом, ставший моим домом души. Я много лет приезжаю на отпуск сюда, чаще, конечно, в июле.

...Говорить не для чего, не говорят ведь деревья. А если

кто-то придет, заговоришь – потом приходится почти болеть из-за ненужных эмоций, не попадающих в ритм, в настроение. В дождь чаще смотришь на линию гор, вверх – в остальную погоду. И светло-рыжие линии сосен, перечеркнувшие зелень, чтобы сшить небо с одеждой деревьев или с горящей от света поляной. Изредка облачко из-за хребта – кажется, что там ледник на вершине. Если нет влажности, то в тени в тридцать не жарко.

Тому назад тридцать лет. Звоняще тихо вокруг, хотя и было уже три заброшенных дома, но в остальных во всех жили – в основном жили старушки. Дом инвалидов работал тогда, как завод – был персонал, пациентов полсотни, год был уже девяностый, и магазин переехал на их территорию, в домик направо от входа. Как гуси-лебеди – за полчаса до открытия штук тридцать-сорок застиранных белых платков на головах у бабулек – кто на полене сидит, кто сидит на бревне, ждут, когда Люся откроет. Травка прощипана овцами – как будто коврик. Невдалеке инвалиды в сереньких выцветших робах – кому-то дать закурить, кто – просто так, для тусовки. Скажешь всем – «Здрасте», найдешь, за кем ты, и тоже ждешь – солнце греет, и совсем времени нет, лишь где-то овца заблеет. Дом еще чувствуешь – дела торопят, но сидишь-ждешь, угорая. У всех вот этих старушек была другая реальность, и она тихо тебя поглощала. Потом с авоськами они пойдут по домам, позже придет мягкий вечер, придет мычащее стадо, и тишина постарается стихнуть еще – день прогорел, как полвека. Светло,

тепло и просторно – рай в окончательном виде.

Все они разные были. Одна старушка придет с другой улицы, чтоб принести для ребенка морковки, Зоища, пусть и жила через дом, не повернувшись пройдет рядом мимо – хоть у нее была пасека, мед, а даже сахар тогда по талонам, не продала и стакан для малого. Пьяные пчелы ее порой летали, как звери. В соседнем доме жила тоже бабушка – сын ее на мотоцикле несколько раз приезжал, чтоб провести ее, а в палисаднике море цветов, и – грядка к грядке. Вскоре она отошла – на другой год там тетя Таня. Сын ее где-то шустрил, поставляя лекарства, кажется, плохо закончил. Каждый года два-три где-нибудь что-то менялось. Как паутина в траве – линии жизней, их связи – сегодня есть, что-то видно, завтра уже ничего, и дома исчезают, и только та же долина, и те же вверх растут сосны. Как будто вдруг прилетели какие-то птицы, поселились, пожили, только дома и остались – в траве по пояс, пустые.

Одним домам повезло чуть-чуть больше – если не вывезли и появился хозяин уже другого порядка. Кто поселились при мне и живут до сих, все похожи в одном – все очарованы этой долиной: мы приезжаем из Питера все тридцать лет, Игорь-сосед из Челябинска, Дима, Сережа из Сатки. Не будь здесь этого Нечто, не будь красиво, этого б не было, точно. И из-за нас здесь пока что остались дома, жизнь продолжается, пусть и, как мы, стала немножечко странной, а на участке у каждого, хоть и не видно, как будто личная церковь.

Ползет дорога сюда и будет то, чего долго боялись – придут действительно дачники, в шлепанцах будут ходить, и будут ездить машины – будет обыденно, почти как всюду. Потом когда-то, возможно, и их поток тоже стихнет, и тогда снова всплывут эта долина и сосны.

Здесь, разумеется, тоже не все идеально. Вот интересно с самую землей – из года в год ее чистишь от стекол, чтоб, если кто босиком, не поранил бы ногу, но стекла, гвозди вылазят по новой (сколько же здесь насорили) – сама земля их толкает наружу.

Примерно так же с людьми – только при мне Наполеонов здесь было штук шесть, шесть «дурачков деревенских». Сейчас седьмой на подходе – что же им, «бедным», нейдет. Первым был завхоз дурдома, он принимал на работу людей из деревни, он им выписывал дров и изредка давал трактор. Но филиал от дурдома закрыли, и тот завхоз, хоть и жил еще долго, но скоро всеми забылся. Лет пять здесь главной была продавщица. Когда потом началась перестройка, карточки, в городе плохо, сюда приехали: она – бухгалтер, а он – технадзор, пригнали трактор с пожарной машиной и по лесам на «Урале» убили дороги. Потом, четвертый, «казак», этот – хохма, и горе – лошадь его потравила мне сад, его овечки сглодали кору на деревьях. Грамота Ельцина и фото в бурке, а на стене в ножнах сабля – он крал овец у башкир, те на конях приезжали к нему разбираться, но атаман скрылся в погреб. Потом был недоблатной –

восстановил давно прорванный пруд, сделал его местом частной рыбалки, но до сих пор рыбаков что-то нету. Шестой скупил три участка, а на одном решил строить – выкопал супертраншею под баню «для стрельбы с лошади, стоя», на третий год – только крошечный сруб и куча гравия, что жрет собака. Они приходят, уходят, только, как будто от стекол в земле, от них в душе остается досада. Сама история чистится от паразитов. Теперь и я перестал принимать их всерьез, слушаю, только не верю. Эта реальность к ним альтернативна – их, будто запах, сдувает, тянет в себя странный мир за болотом. Я не совсем уж другой, но мне всегда здесь комфортно.

Быть победительным в действии это сакрально, когда и все в это верят. Но есть и то, что сильнее – быть победительным без всяких действий. «Королей делает свита», нет свит и нет королей, для меня нет, и для других нет в деревне. А за болотом, конечно же, все «по-иначе», там развиваются странные люди – кажется, все в них понятно, только с трудом в это веришь.

Здесь кошки, мышки, овцы и зайки, даже гадюки, сороки, все тебя учат порядку – не оставляй непомытой посуды и крошек ни на веранде, ни в кухне, не позволяй своим пьяным гостям бросать в траву кости рыбы и кур и почини все заборы (а то не будет коры на деревьях). Потом и сам на тропе не оставишь окурков и подберешь чей-то фантик.

И люди учат тебя – не пили дров на года— придет под

зиму сосед косоглазый, вычистит весь твой сарайчик (летом придет с ясным глазом, одним, и с полведром свежей картошки – за сигареты, конечно), потом сгорит вместе с домом, не получивши прощения – даже костей не нашли в пепелище, впрочем, не сильно искали. Другой (которому как-то котята первого перекопали морковку), как это было уже много раз, пообещает скосить весь бурьян – назавтра сам, попив кофе (пусть позвоночник твой сломан, в корсете), выйди-ко-си, не сосчитать помогавших. И, «Кинг-Конг жив», вдруг, неожиданно, третий сам постучит в угол дома огромным бревном – сам все распилит, порубит (правда, потом нужно слушать его и говорить с ним). Вот – три ближайших соседа. Здесь совершенно «отвязные» люди – они отвязаны ото всего: от телевизора, от магазинов. Кто без амбиций, не хуже всех тех, что живут там за болотом, просто их качества четче развились. Зрелище – плача-смеешься (но нет неясностей за поволокой в глазах), не всех и стоит впускать за калитку. Хотя и ярко, они проявляются редко – каждый по два раза за месяц. И я им тоже, наверное, странен.

Лучшее здесь изучать тишину – неба, горячего солнца и туч или дождя за верандой (стеной), листьев, деревьев, травы, бабочек и землеройки, вскопавшей под елкой. Первое – небо, конечно, но оно – ширма, не больше, перед которой все здесь и живет. Не происходит ничто – происходит, тучи плывут, исчезают – нужны часы, дни, года, чтоб познакомиться с ними, но и тогда не предскажешь, что будет. Или соседский

котяра – то он мяучит, чтоб только пустил, то – хвост трюбой, убегает. После дождя его капли блестят почти до жжения глаза. Красные плоские гроздья калин – месторождение бус дикарей, на светлом фоне листвы, когда еще недоспели – точно, что под цвет коралла. В городе я не квартира, конечно, но здесь я – все, я есть забор и калина. А синеватые «цветики» возле окна гнутся – фиксируют ветер. Тихая сапа кружит над сосной, но изредка прокричит свое что-то.

Если нашел соответствие себя вовне, то, в чем действительно правда, как этот древний бревенчатый дом из неподсоченной пихты, как эти сотки участка или как эти деревья (все посадил сам когда-то) – они тебе помогают. Небо, деревья, трава не замечают людской ерунды, и когда ты вместе с небом – «демоны», потанцевав, сами собою уходят. Бывают годы, когда так «колба-сит» – горем, всплывают обиды. Как на работу, выходишь сидеть на веранде – в душе погано, и три дня, и пять – «ну почему так же он... так она» – на лице – будто оскал напряжений. Сидишь и тупо глядишь на забор, пьешь свое пиво и кофе – час, три, пока не устанешь, потом встаешь что-то сделать. Но насыщаешься чем-то. На пятый день вдруг легко, и больше нету проблемы. Но уважение к этой работе всегда остается – перелопачено столько, в городе просто не сможешь. Это, как если приходишь сюда – или по лесной урёме, или тропой по болоту – дальше живешь, как плывешь, солнечно, совсем спокойно. В чем я отличен от местных, что не забочусь, как выжить – как над поверх-

ностью пруда – ни от чего не завишу.

Я наблюдал здесь похожий эффект и с другими – гости из Питера, не до конца, к сожалению – времени было у них маловато. Несколько лет было много гостей – на ночь укладывать негде. Два дня – нормальные люди, потом капризы и мелкая злобность. Все их эмоции сразу видны, как будто цветные пятна. Кто ты, здесь совсем не важно – кто ж тебя, зайку, обидел. Они не верят, что нужно держаться, глядеть на забор, но уезжают всегда чуть светлее. Там далеко в паутине асфальта много того, что не нужно. Здесь же, во внутреннем мире, если ты выделишь время – все еще можно отладить. А в этот год повсюду в рост пошли сосны.

Полурассеянный взгляд на полнеба. Не надо делать ненужных движений, главное, его законы – всё в поле зрения. С большого склона горы (час подниматься наверх от подножия) стекает вниз густой смешанный лес – утром и вечером там поднимаются, бродят туманы, днем – бегут тени летящих вверху облаков, а в лесу – душно, трава по плечо и, часто, сучья лежащих деревьев. И до горы час ходьбы – полчас по полю-поляной и полчаса идти по-между кочек по почерневшей воде среди длинных берез, что-то сметающих с неба. Наверху скалы и зноя нет, и видно села вдаль, в мареве малые пятна, и на реке все места, вечно звенящие светом.

Я приезжаю сюда не в деревню – через лес, горы и воздух чувствуешь то, что еще изначальней. Иструть-forever. Можно, конечно, сидеть в городах, все

будешь ты «мимо кассы» – мимо рыбалки сетями, мимо ночных, под шашлык, посиделок, мимо червивых маслят в духоту и мимо «мулек» в глазах от жары, когда припер по горам рюкзак пива. Все здесь уж слишком иное – совсем другие законы, сознание. Да, вероятно, порядок внутри это главная вещь, но если цель его то, на что ты согласился, то – это сущность.

9. Что вообще происходит

За двадцать пять лет нашего знакомства я в первый раз собрался к другу на дачу. Так как я здесь не хозяин, то на меня лень напала – жена выдрала с трети участка крапиву, я лишь помог отнести ее в кучу. Просто сидел, словно видел впервые, наблюдая перемещения других и красноту заходящего солнца. Но разжигать костер в ямке и обложить ее всю кирпичами я помогал, безусловно. До темноты шашлыки все же были готовы. Потом был торт, была дыня – большая, и виноград под вино, и «всяко разное» с икрой. После уже закусили с куста черноплодкой, не применяя испачканных рыбобой рук – сложно идти потемну к самой бочке с водой. Надо мной низко нависли ветки неплодоносящих слив, их заостренные листья. Выше, вокруг темнота – мы, как и эти деревья, склонились. Небо уходит наверх, как будто мы на дне башни. Отсветы пламени празднично бегают по его узкому лицу и по плечам в куртке хаки. Его – дети, мать, моя – жена, все ушли спать, а играть в шахматы – поздно, и в голове

из-за винчика чуть мутновато. Комаров нет, просто счастье. Отсюда в часе езды Старая Ладога, мы там с женой были в мае. Ох, неохота мне завтра идти на рыбалку – он обещал дать нам лодку, *лучше* бы в город обратно, в комнату, будто в ячейку, но обижать я его не могу, а объяснить не сумею.

– Что ты такой грустноватый? – Видеть уже не могу, как от нее он страдает – я одубел ото всяких нелепиц, а он меня провоцирует к жизни.

– Да как всегда. Все ж, почему ей никак не живется?

– Я ж говорил много раз – у нее фляга свистит. Нельзя вообще открывать двери ада, а у нее раздражение вместо эмоций: от эгоизма и до людоедства.

– Мало что дура, еще сумасшедшая дура. – И в диссонансе к спокойствию ночи он начинает рассказывать и распалывать. Я, молча, слушаю снова и понимаю – ему от нее не уйти, так как для этого нужно найти в себе силы и перестать верить самообману. – И еще теща: и ее с сестрой, их отца – всех искалечила до кренинизма, ну а сама – трансформатор из будки.

– Да, злобность, точно, заразная штука, и когда кончится, то отходить будешь годы. Свойства людей изменяют реальность. Ты зря боишься расстаться. Я тоже так же болел, а может быть, и похлеще. Минное поле в болоте. Помнишь, над дверью был крест нарисован. Потом я взял себя в руки. Только две точки опоры: разум и внутренний зритель. – Он тонкой палочкой вновь раскурил от костра сигарету. Взгляд

его долго держался на пачке, смысл разговора сместился.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.